



ГРИГОР ЗОГРАБ  
НОВЕЛЛЫ



Г. ЗОГРАВ



НОВЕЛЛЫ

Ищут и не находят счастья герои новелл армянского писателя Григора Зограба. Да это и понятно: они современники Зограба, жившего в Турецкой Армении в жестокое время царствования кровавого Абдул-Гамида.

Трагически обрывается жизнь наивной и самоотверженной красавицы Ашхен, полюбившей богатого бездельника («Тефарик»), страшна судьба молоденькой девушки из новеллы «Магдалина», вынужденной ради куска хлеба продавать свою любовь. Потеряв единственного сына, кончает жизнь самоубийством разувевшаяся в бже Софик-ханум («Якорь»).

И все же писатель верил в сильного человека, страстно протестующего против несправедливости. Таковы его герои — гордая и неподкупная Эзрахта, романтичный и храбрый Забухо в одноименных новеллах и мужественный, дерзкий Ацопос в новелле «Аинка».





ГРИГОР  
ЗОГРАБ



# НОВЕЛЛЫ

*Перевод с армянского*

Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1962

*Составление и послесловие*

А. САЛАХЯНА

*Художник*

Б. МЕСРОПЬЯН



## ВДОВА



ыла ночь, мрачная сырая ночь. Большая улица Перы<sup>1</sup> со всеми ее многоэтажными каменными дворцами погрузилась во тьму. Безлюдную мостовую омывал мелкий морозящий дождь. Напротив караульного помещения Галата Серая<sup>2</sup>, потеряв надежду

---

<sup>1</sup> Пера — район Стамбула, населенный преимущественно европейцами.

<sup>2</sup> Галата Серай — торговый квартал в Стамбуле.

дождаться запоздалого путника, укрывшись от дождя в своих экипажах, спали двое извозчиков. И больше ни единой души. От дневной суматохи не осталось и следа. Ночную тишину нарушал лишь шум дождя, который непрерывно моросил со вчерашнего вечера и наводил тоску своей однообразной, заунывной мелодией. Вдоль широкой и прямой улицы виднелись уходившие вдаль красные точки — мерцающие огоньки влажных газовых фонарей.

Казино, кафешантаны и прочие увеселительные заведения давно закрыты. То здесь, то там отворяются двери мясных и молочных лавок. Привыкшие вставать засветло, ученики лавочников, едва протерев заспанные глаза, при свете коптилок приступают к своей повседневной работе.

Не слышно ни звука, лишь шаги ночного сторожа по гулкому тротуару словно отбивают полночь. У стены, в ожидании рассвета, съежился человек, — наверное, проиграл свое состояние в игорном доме и уже потерял всякую надежду найти ночлег. Эта гостеприимная улица не для тех, у кого в кармане пусто.

Но вот появляются люди с фонарями в руках; низко склонив головы, они подбирают всякое тряпье и бросают его в корзины, которые несут на плечах.

Темнота постепенно рассеивается. В нижней части Галата Серая послышались голоса, на улице показались первые прохожие. Медленно двинулись лошади, груженные зеленью и бидонами с молоком, пробуждая звоном висящих на шее колокольцев дремлющее эхо каменных зданий.

Теперь рассвет уже близок — на затемненном горизонте стали вырисовываться очертания домов Перы,

голоса зазвучали громче; раздвинулись железные ставни магазинов. Поднявшися чуть свет слуги и сторожа, прибрав магазин, выходят на улицу, чтобы подмести тротуары. Торговцы бокегом<sup>1</sup>, молоком и салепом<sup>2</sup>, горланя, принимаются за дело, за небольшую плату доставляя слугам, носильщикам и сторожам дешевый завтрак; соседи желают друг другу «доброе утра».

Мартирос встал еще засветло, подмел магазин, разложил по своим местам разбросанные вчера коробки и пакеты, протер витрину и растворил железные ставни. Немного погодя стало совсем светло. Рабочие, конторщики, дельцы, представители всех наций и сословий стали съезжаться в Стамбул; большая улица пробудилась и пришла в движение; один за другим открывались магазины, здесь и там протирали окна, конторские служащие приступали к своим обязанностям, швеи принялись за работу.

Наступило утро.

Вот уже шесть месяцев как Мартирос работает в этом магазине вместо своего дяди, который десять лет служил здесь грузчиком и сторожем, а теперь передал должность племяннику и вернулся на родину.

Мартиросу едва исполнилось девятнадцать лет. Он был рослый, черноволосый, черноглазый парень, и

---

<sup>1</sup> Бокег — хлеб, замешанный на масле или на фруктовом соке.

<sup>2</sup> Салепо — восточные сладости, приготовленные из молока, сахара и патоки.

женщины сразу обращали внимание на его мужественную внешность. Но его красивое смуглое лицо, несмотря на печать мужественности, все еще сохраняло юношескую мягкость. В его взгляде было что-то приятное, застенчивое. Широкая, могучая грудь говорила о завидном здоровье. Синий шерстяной костюм плотно облегал его молодое стройное тело. Его крепкие мускулистые руки, должно быть, обладали необычайной силой, а короткие штанины и узкие гамашы обнаруживали в меру полные икры ног.

У обитателей Перы вновь приехавший работник вызвал настоящий восторг. Женщины восхищались юношей, застенчивость и скромность которого придавали ему особенное, понятное только им обаяние.

Не мудрено, что этот молодой человек привлекал в магазин покупательниц. Их любопытные, ищущие взгляды оставались непонятными только ему одному; все находили его красивым и, не стесняясь, говорили об этом открыто, с такой невероятной смелостью, что он удивлялся.

— Ты женат? — часто спрашивали его.

Получив утвердительный ответ, одни улыбались, другие высказывали ему свое соболезнование: стамбульские женщины любили пошутить. Многие из того, что приходилось слышать юноше, казалось ему весьма забавным, и он с трудом сдерживал смех.

Он не понимал, но каким-то внутренним чутьем догадывался, что благосклонным отношением к себе больше обязан красивой внешности, чем своему усердию в работе.

Восхитительны были первые дни, проведенные Мартиросом в магазине «Брентан».

Великолепное, блистающее роскошью многоэтажное здание с многочисленными отделениями, винтовыми лестницами и бесконечным потоком посетителей производило на него впечатление маленького сказочного города.

У входа в магазин с утра до вечера то и дело доносился звон золота. Тут за столом сидел специальный служащий и, заглядывая в прейскурант, получал от покупателей невероятные суммы.

Посетители, большей частью женщины всех национальностей, — среди них попадались даже турчанки и армянки, но больше всего было француенок, — непринужденно, с неприкрытыми лицами, напудренные и накрашенные, красивые и стремящиеся быть еще красивее, наполняли магазин неумолчным гамом.

В первые дни Мартирос чувствовал себя смущенным и растерянным. Он не понимал странного международного языка, на котором говорили все вокруг, не видел смысла купли и продажи вещей, полезность которых не мог постичь. Но со временем он научился разбираться в коробках и пакетах с шерстяными, шелковыми, фланелевыми, тюлевыми и плюшевыми тканями; наблюдая, как через день или два они превращаются, в женское платье, он понемногу узнавал, зачем они нужны, а прислушиваясь к французской речи, запоминал отдельные слова. В магазине ему не давали сидеть без дела. Целый день с утра до вечера он суетился среди разных товаров, перекладывая их с места на место.

Ночью, когда суматоха прекращалась и во всем этом огромном доме Мартирос оставался один, охва-

ченный любопытством, он как одержимый в смятении рылся в разложенных вокруг вещах, стараясь проникнуть в их скрытый смысл.

Здесь было разложено множество разноцветных женских чулок: фельдекосовых, шелковых, вязаных, в точности воспроизводящих форму стройной женской ноги, и таких длинных, что их можно было натянуть до самых бедер.

Там — тонкое, белоснежное льняное женское белье, которому неискушенный ум Мартироса никак не мог найти применение; рубашки — длинные, широкие, ажурные, с пенистыми кружевами, — предназначенные скорее для того, чтобы оставить грудь обнаженной, чем прикрыть ее; было здесь и другое белье, назначение которого он не мог угадать, так как составные части его лежали порознь.

А чуть поодаль виднелись всевозможные женские украшения, шляпки с птичками или цветами, туфли причудливых фасонов, перчатки, подвязки, — с последними он был уже знаком, так как еще на родине иногда завязывал ими свои чулки, и, наконец, тысяча других похотливых, волнующих душу предметов, в особенности маленькие, изящные пузырьчики, запах которых приятно щекотал его обоняние.

Но на верхнем этаже он увидел еще более удивительные вещи. В комнате, где работали швеи, стояла нагая, совершенно нагая женщина, вернее женское тело, выточенное из дерева, созданное с таким мастерством, что казалось настоящим и живым; это тело с удивительным бесстыдством раскрывало перед его восторженным взором все те скрытые прелести, от которых лихорадочно бурлила кровь этого недавно

познавшего таинства любви юноши. И он до самого утра не мог уснуть, со всех сторон окруженный этими говорящими и волнуемыми вещами, созданными человеческой фантазией специально для женского тела. А над всеми ними, как царица волшебного царства, господствовала ослепительно красивая нагая женщина — дерзкая и гордая и в то же время как будто готовая в любую минуту отдаться. И в этом волшебном женском царстве, полном сокровенных тайн и прелестей, молодому человеку, осужденному оставаться их бесчувственным стражем, была отведена незавидная роль кастрированного петуха.

На родине его ждала молодая жена. После свадьбы Зардар прожила со своим мужем не больше двух месяцев. Неотступная нужда гнала его в дальние края на заработки.

Любила ли она юношу, который стал ее мужем? Слепая, безропотная покорность — основа основ жизни армянок в тех краях — не оставляла места для мыслей и чувств. Нравится ли ей тот, кого предназначили ей в мужья? Об этом у нее ни разу не спросили. Да она и сама не думала о нем и до своего замужества не испытывала к нему ни любви, ни ненависти. Истинной близости между ними не установилось и после свадьбы. Все это время они находились под бдительным надзором многочисленных родственников, живших под одной с ними крышей.

В этой новой семье, куда она пришла прежде всего как служанка, Зардар меньше всего принадлежала своему мужу, так как ее основная обязанность заключалась в том, чтобы прислуживать свекру, свекрови и прочей родне.

Однако в глубине души эта деревенская девушка таила неистощимые сокровища нежности и любви, которые, увы, пока еще не имели возможности проявиться. Перед ее взором вечно стояли тетки Мартироса, поседевшие в ожидании мужей, и ее свекровь, состарившаяся в бесконечных заботах и трудах по хозяйству; теперь они были почти старухами, такими же молчаливыми и покорными мужчинам, как и она, их молоденькая невестка, покорными своим мужьям, которые после долгих лет отсутствия, вдруг вспомнив, что у них есть семьи, вернулись на родину продолжать ставшую теперь бессмысленной супружескую жизнь.

Эти сгорбленные, жалкие женщины, словно безмолвные тени, постоянно блуждали перед ее глазами; а представить себе замужних женщин другими Зардар не могла.

Она даже не удивилась, когда настала очередь уезжать ее мужу. Армянские крестьянки привыкли безропотно покоряться судьбе, они так забиты, что не имеют права даже пожаловаться. Из Стамбула получили письмо, извещавшее о приезде дяди Мартироса, и семья стала готовиться к отъезду юноши. Зардар, как заботливая жена, связала мужу на дорогу две пары шерстяных носков, мать и другие родственники дали ему на память по небольшому подарку, и он вместе с Хачо, парнем из соседней деревни, присоединился к каравану, отправлявшемуся в Стамбул. Зардар проводила мужа до принадлежавшего им поля, что находилось у самой дороги; в последнюю минуту, когда они обменивались прощальными приветствиями, из ее глаз выкатилась слеза и упала на руку парня. В этом и выразилась вся горечь их расставания.

Вскоре после отъезда Мартироса свекровь так одряхла, что не могла больше работать, и на невестку возложили все домашние заботы. Она должна была печь хлеб, доить корову, носить воду и дрова; все это молодая женщина выполняла с безропотностью, свойственной домашней скотине.

По Большой улице Перы, согнувшись под тяжестью огромных тюков, с вздувшимися, будто готовыми лопнуть венами на лбу, в рваной одежде шагали четверо носильщиков; один из них старый, поседевший от горя человек, остальные трое — молодые.

— Хачо! — окликнули одного из них из дверей роскошного магазина.

Хачо повернул голову. У входа в магазин стоял красивый парень; он был одет в новый костюм, чисто выбрит и имел весьма опрятный вид; феска на голове была лихо сдвинута набок. Выпятив колесом широкую, как щит, грудь, он поправлял складки брюк.

Уже выбившиеся из сил носильщики с чувством облегчения опустили на землю свой груз. Увидев это, старшины квартала возмутились. Большая улица Перы — не место для отдыха.

— Нельзя! — на ломаном турецком языке крикнул им один из старшин, очевидно грек по национальности.

Носильщики запротестовали. Они говорили сумбурно, мешая армянские слова с турецкими.

— О господин, пощади, или у нас души нет? — воскликнул старик.

Их окружили прохожие в шляпах, желая узнать причину спора, из любопытства останавливались женщины. И носильщики снова нагнулись, чтобы взвалить на спину свой непосильный груз. Бедности не дано права находиться среди богатства.

Мартирос молча смотрел, как удалялись четверо его земляков. Да, жизнь Хачо трудна — с его собственной не сравнить; а ведь они ровесники и приехали сюда одновременно, чуть ли не из одного села; Хачо, такой же крепкий и здоровый парень, как и он, тоже оставил на родине невесту, чтобы заработать деньги, вечно нужные деньги!

Он жил в Пере, а Хачо в Галатии. Один — на горе, другой — у ее подножия, и казалось, что тому, кто жил внизу, никогда не удастся подняться на гору. Сравнения эти невольно рождались в уме Мартироса.

Работа нравилась ему и приносила хороший заработок. Однообразная нищенская жизнь родного дома теперь казалась ему неприятным и мучительным сновидением, исчезающим с наступлением рассвета. Из этого целиком женского мира будущее представлялось ему прекрасным и заманчивым. Он учился говорить по-французски, и когда обращался к дамам, то называл их мадам, так как все они принадлежали к избранному обществу. Он часто носил к ним домой большие и маленькие пакеты, за что получал чаевые. Да, Мартирос имел основание думать, что для своих хозяев и клиентов он был нужным человеком. Некая француженка, влюбившись в этот совершенный образец восточной мужской красоты, и в особенности одна армянка, дама, проживающая в Пере, любую, даже

самую незначительную его услугу вознаграждали неожиданно щедрым образом. И, поглаживая свои недавно пробившиеся усы, он колебался между этими двумя соперничающими прелестными созданиями.

Армянка была женой богатого купца. Испытывая отвращение к постоянно страдающему от подагры мужу, она забыла, что этот старый человек вывел ее из бедности, сделав своей женой.

Богатство, на которое она в свое время смотрела с завистью нищенки, теперь не могло смягчить горькую участь быть женой старого и больного человека, и, насколько ей позволяли обстоятельства, она старалась возместить убытки от этой неудачной сделки.

Независимая и властная, эта женщина целыми днями бродила по магазинам Перы, рассматривая дорогие туалеты, и не знала, как использовать предоставленную ей мужем неограниченную свободу; найти человека, который удовлетворил бы ее необыкновенно пылкую натуру, ей до сих пор не удавалось. Увивавшиеся вокруг нее молодые люди благоговели перед ней и были счастливы в ее обществе. Но не об этих слабых и жалких существах мечтала она так страстно. И вот в одном из магазинов она увидела молодого человека, здорового, красивого и вместе с тем грубоватого. Он в точности соответствовал тому идеалу мужчины, который она тщетно искала. С этой минуты он стал ее единственной страстью. И она не упускала случая под каким-нибудь предлогом побывать в магазине, где служил молодой человек. Она

покупала разные мелочи, которые он должен был отнести к ней домой. Мартирос относил все с готовностью, и когда он случайно прикасался к ее роскошному платью или когда ее нежная, мягкая ладонь, вручая ему чаевые, встречалась с его широкой, крепкой и мускулистой рукой, по ее телу пробегал трепет.

Иной раз, когда ханум находилась дома, Мартирос поднимался в ее дивную комнату за очередным поручением.

Некоторое время дама продолжала свою игру, но потом терпение ее иссякло: в конце концов этот носильщик был не тем человеком, с которым следовало бы церемониться. Она умело и ловко устраивала свидания с провинциальным парнем, чья неискушенность и чистосердечие были так же безграничны, как и ее пылкая страсть. Она чувствовала, что из-за него способна натворить массу глупостей, и, как скупец, который находит спрятанное кем-то сокровище, хотела завладеть им и сохранить его только для себя. А Мартирос, не успевший еще избавиться от прежних своих представлений и взглядов, пока что в равной мере удивлялся и мужчинам и женщинам города.

Однако новые развлечения увлекли его, и он уже больше не вспоминал о жене, оставленной им в родной деревне. Те слезные письма, которые посылала ему бедная женщина, не трогали его окаменевшее сердце; денег он посылал столько, сколько просили, но к словам о возвращении был глух.

А в это же время его земляки, на глазах у него, ценой лишений, скопив немного денег, один за другим возвращались домой, к своим нуждающимся семьям.

К началу зимы из Стамбула в окрестные деревни возвратились многие из тех, кто покинул их, возвратились к великой радости своих невест, наконец дождавшихся женихов. Сельская жизнь вновь забила ключом. Собрав деньги на покупку земли и пары быков, приехал домой и Хачо. Он был уже помолвлен, и поэтому со свадьбой медлить не стали. Дядя Мартироса исполнял роль посаженного отца. Все любили Хачо, и день его свадьбы стал днем веселья, праздником для всей деревни.

Зардар присутствовала на торжестве; шесть лет тому назад так же весело была сыграна и ее свадьба. И тогда, так же, как и сегодня, приходили соседи и односельчане с тысячей добрых пожеланий. Но вскоре муж покинул ее и с тех пор больше не показывался. И здесь, среди этих веселящихся людей, ей стало мучительно стыдно своего одиночества, которое казалось чем-то зазорным.

Когда на следующий день Зардар вернулась домой, их пустая лачуга выглядела еще более темной и мрачной.

Быть может, уже десятый раз она с сокровенной надеждой в сердце побежала в церковь, пала на колени перед иконой богородицы и, обливаясь слезами, изложила свою просьбу; а мать божья с серебряной короной на голове выслушала ее из своего потускневшего позолоченного оклада так же, как выслушивала просьбы многих других.

Потом настала холодная зима, своей суровостью она как бы говорила вернувшимся на родину, что в отчий дом они вернулись вовремя. А о тех, кто этой осенью не смог приехать из Стамбула, приходили

вести. Карапет должен вернуться в будущем году, а Киракос годом позднее. Не говорили только, когда придет Мартирос. Потом все покрылось снегом и льдом. Каждый заперся в своем доме. Прошел еще год.

Стройный сторож «Брентана» был «на хорошем» пути. Путь разврата подобен ледяному склону — начал скользить вниз, остановиться очень трудно.

Проходили годы, а он по-прежнему бродил по улицам Перы всегда чисто одетый, выбритый, с закрученными черными усами, подобно индийскому князю, всегда в национальном костюме, который так шел к нему. Один лишь раз он из любопытства оделся в европейский костюм, и в тот день на него никто не обратил внимания.

Теперь он знал все порядки Перы и был искушен во всех тонкостях разврата. Довольно долгое время он, красивый и крепкий мужчина, пользовался успехом у женщин.

Однако такая жизнь не могла продолжаться до бесконечности. Испытываемые удовольствия делались все обычнее. Ласки теряли былую свежесть, и интерес к ним постепенно ослабевал.

Теперь он уже не был неискушенным бесхитрым парнем, каким приехал из деревни. Но что пользы? Чувства молодых женщин так же переменчивы, как и мартовская погода.

Покровительница Мартироса однажды выпроводила его, а на своей работе он не получал десятой доли прежнего заработка.

Недолговечность моды довлела над всеми вещами, находящимися в магазине, и он был одной из этих вещей. Однако теперь он был смел, самоуверен и благодаря опыту, накопленному смолоду, все еще пользовался успехом если не у дам, то по крайней мере у белшвеек и служанок.

Неожиданно из родных мест пришло письмо, где ему в довольно грубой форме напоминали о забытых и поправленных им священных обязанностях. Этот безжизненный листок бумаги, извлеченный им из маленького конверта, будто осыпал его заслуженными упреками, и он невольно устыдился. Маленький бесстрастный посланец на миг принял образ близкого, родного человека и с неумолимой строгостью укорял его. Как справедливы были эти упреки! И тогда, раскaiваясь, он принял решение вернуться. Но почти тут же передумал — исполнить его не хватало духа. Он все больше и больше убеждался в том, что единственный выход для него — остаться в Стамбуле. А время все шло.

В один прекрасный день он почувствовал, что стареет, в волосах появилась седина, зеркало показало, что изменились и черты его лица. Он был очень удивлен — так скоро! Два дня он думал об этом, но потом снова взялся за прежнее. О том, что он женат, он не говорил больше никому. С тех пор как Мартирос ушел из магазина, прошло много времени, и он уже нуждался в деньгах.

Одна служанка из Партизака — последняя из его прежних связей — предлагала все свои сбережения — четыре тысячи курушей — с условием, чтобы он женился на ней.

Стать носильщиком он не мог — не было больше ни сил, ни воли. Ему хотелось начать свое собственное дело, но для этого нужны были деньги. Мартирос подумал также и о том, что если уж он не собирается вернуться на родину, то следует еще раз жениться, так как жить без жены нелегко.

Они поженились тайком, как воры, не известив патриархию и не пригласив ни друзей, ни родственников, — дали попу золотой, и вопрос был решен. Таков был итог его жизни.

А на родине его по-прежнему ждала жена. За зимой приходило лето. Лето, в свою очередь, сменялось зимой. Однообразно шли годы, не принося с собой никаких перемен.

Из Стамбула письма приходили редко; векселя больше не оплачивались, и свекор в своих письмах грозился прогнать невестку, если следующий вексель также останется неоплаченным. Дома все считали ее виновницей беспечного поведения мужа.

Ушедшие на заработки один за другим возвращались из Стамбула, а на смену им по-прежнему уезжали в столицу юноши, чтоб на чужбине испить чашу страданий. Из деревни шли туда письма, содержащие приветствия, сообщения о здоровье членов семьи и вечные требования денег. Ответа не было. Зардар, теперь уже зрелая женщина, иногда урывала минутку, чтобы, забившись в какой-нибудь угол, поплакать.

Каждый субботний вечер она ходила в церковь, закопченную, как и все деревенские лачуги, церковь,

которую посещала с малых лет и в которой благословляли ее замужество.

Там, перед иконами святых, которых она считала молчаливыми, но справедливыми свидетелями своего венчания, Зардар изливала свое горе и в горячей молитве, очень похожей на упреки, почти обвиняла эту церковь вместе с алтарем, мощами и всеми святыми в крушении своих надежд. Однако молитвы о вечно отсутствующем муже не меняли ее судьбы.

И она навсегда потеряла веру в это ежечасно ожидаемое и ежечасно несбывающееся возвращение.

Она знала, точно знала, что муж не вернется; но по вечерам ноги невольно несли ее на то поле, где она в последний раз видела его, тогда еще молодого. Там, стоя в одиночестве, устремив ищущий взор в уходящие вдаль бескрайние поля, вдова ждала...

1888

## АРМЕНИСА



алки — остров, населенный греками. С ней я познакомился именно там. По вечерам она шла в казино «Анастаси» и ждала парохода, с которым приезжал ее муж. Мне казалось, что низкорослый мужчина лет пятидесяти, с которым она возвращалась в гостиницу, был ее мужем.

Почти всегда она выходила на улицу одна. Но иногда брала с собой маленького шестилетнего мальчика — безусловно, сына, с которым разговаривала, как со взрослым.

Она не завязывала никаких знакомств и ни с кем не поддерживала дружбы. Молодые люди всех национальностей, всегда любопытные, когда дело касается женщины, напрасно увивались вокруг нее в надежде удостоиться хотя бы взгляда. Она просто не замечала их.

В казино, устроенном на деревянном помосте на морском берегу, был уголок, где она сидела в одино-

честве каждый вечер. Уголок этот принадлежал ей, во всяком случае так считали посетители. Им, как благовоспитанным людям, нравилось оказывать внимание таинственной чужеземке.

Сам я также встречал ее несколько раз и, заинтересовавшись, спросил у знакомых греков, как ее зовут.

— Армениса<sup>1</sup>, — сообщили мне.

С тех пор как она приехала на остров, люди знали ее только под этим именем.

Мои расспросы прислуги из казино не дали никаких новых сведений. А между тем жители острова обращались ко мне, к ее соплеменнику, чтобы разузнать о ней хоть что-нибудь.

Муж, приехавший на остров не чаще двух раз в неделю, выглядел еще более нелюдимым, чем жена. За полтора месяца, с тех пор как они поселились в гостинице «Белвью», он даже ни разу ни с кем не поздоровался. Это странное отшельничество молодежь острова объясняла его ревнивым характером и считала, что женщина — жертва тирании своего мужа. И в самом деле, лежавшие на лице тени подтверждали такое предположение.

Но робкою она не казалась. У нее была красивая фигура, изящные и благородные манеры и смелая походка. Без смущения, громко, с непринужденностью людей, долго живших в гостиницах, она звала слуг и делала заказы.

Сначала мне казалось, что, познакомившись с этой дамой, я окажусь более удачливым, чем все ухаживающие за ней молодые люди.

---

<sup>1</sup> Армениса — армянка.

— О, тебе удастся, — говорили мне мои друзья-греки, завидуя тому, что я армянин, — ты знаешь ее язык, и говорить с ней тебе легко.

Впервые за всю свою жизнь то обстоятельство, что я был армянином, давало мне какое-то преимущество перед другими. Итак, воодушевляемый друзьями-греками, я попытался познакомиться с Армением.

Много раз я занимал место по соседству с ней и говорил громко, чтобы привлечь ее внимание. Сначала я говорил на чистом армянском языке, тщательно подбирая слова и выражения, затем на французском и турецком, стараясь показать, что я — личность достойная внимания.

Я стал заботиться о своей внешности. Портной, знавший меня как человека бережливого, очень удивился, когда я заказал сразу пять костюмов. Я запасся изрядным количеством галстуков и не пренебрег ни одним из требований моды: белоснежные воротнички, узкие и такие высокие, что достигали щек и грозили удушить меня; платки — нежные, душистые, меченные замысловатыми вензелями. Этого было вполне достаточно, чтобы пленить женщину, знающую цену туалетам.

Она одевалась изящно и красиво, ежедневно меняла платья, которые были одно другого наряднее, сшитые с большим вкусом, по-видимому в магазинах Дамилвиля или Трикотеоза. Ее изящные маленькие ножки, которые она с явным удовольствием показывала из-под своего платья, всегда были обуты в черные шелковые чулки и туфельки, сделанные искуснейшими мастерами Перы.

Но что мне до всего этого, если мои старания завязать знакомство остались незамеченными? В любовных делах я был слишком неопытен. Ни мои громкие разговоры, невольной свидетельницей которых она оказывалась, ни взволнованная жестикуляция, ни мои пристальные и пламенные взгляды не могли победить безразличия этой красивой мраморной статуи. Она даже не смотрела в мою сторону.

И мои неудачи, чувство стыда за перенесенный на глазах у греков позор вылились в горячую ненависть к Арменисе. Гордые ее манеры я объяснил ее невоспитанностью, а уединенную жизнь — тайными пороками, не позволяющими ей появляться в приличных домах. Везде и всюду я стал злословить о ней. Обвинить ее в чем-либо определенном я не мог, но высказывал такие предположения, которые усиливались и подтверждались ее скрытым образом жизни.

— Женщина эта не принадлежит к знатым семьям Стамбула, — говорил я о ней каждому встречному, — этот пожилой мужчина, очевидно, ее любовник, а не законный муж.

Мои друзья, раздосадованные так же, как и я сам, разносили мои слова по острову.

К счастью, отголоски этих сплетен до нее не доходили. А жители острова не переставали интересоваться ею и оказывать ей внимание. Гречанки, всегда стремящиеся одеваться нарядно, старались перенять у нее покрой одежды. Однако достигнуть ее изящества им не удавалось. И когда, держа за руку своего маленького сына, она грациозно, со спокойствием богини проходила по Ливатии, отовсюду слышался шепот,

полный восхищения и похвалы, шепот, вызывавший во мне возмущение:

— Армениса, Армениса!

Армениса была милой, очаровательной женщиной. Она была окружена только ненавистниками или обожателями, безразличных людей она не встречала. Движения, взгляд, речь — все в ней было каким-то особенным. Она не была любопытной и как будто не умела удивляться. Что же она все-таки любила? Чем можно было ей понравиться? Трудная загадка. Решившему ее эта прекрасная, обольстительная женщина стала бы желанной наградой.

В ее пышной и надменной груди сердце оставалось таким же непостижимым, как секрет того недоступного сокровища, для которого искали, но не находили волшебного: «Сезам, откройся!»

Прогулка для Арменисы была наилучшим препровождением времени. Ее роскошные, собранные под широкополой шляпой волосы показывали безукоризненную белизну шеи. Одной рукой она мило держала подол платья, а другой — раскрытый красный зонтик. Пылая в солнечных лучах, зонтик гармонировал с розовым цветом ее лица.

Восхитительной, обаятельной была эта женщина.

По утрам в воскресные дни она непременно ездила на Большой остров. Там я и встретил ее однажды.

Я шел по чисто подметенной, обсаженной деревьями дороге, которая вела к отелю Джиакомо.

С обеих сторон дороги, среди пышных садов, виднелись красивые дома, иногда попадались виллы, дворцы; через открытые двери были видны: роскошная

мебель, слуги в черных костюмах и с белыми галстуками, служанки не менее нарядные, чем сама хозяйка дома, няньки в белых фартучках из тонкого ситца, в ожидании стоявшие у дверей.

Среди дворцов различных стилей своей простотой привлекало внимание скромное каменное здание. Оно выглядело единственным серьезным лицом в галерее смеющихся физиономий.

Люди шли туда; я последовал за ними и очутился в церкви армян-католиков.

В самом ли деле эта церковь принадлежит армянам? Слышу, как говорят по-турецки, здороваются по-французски; вокруг себя вижу только европейцев; с непокрытыми головами, перчатками в руках они стоят неподвижно, как разряженные манекены из магазина Штейна. Никто не молится. У алтаря на непонятном языке едва слышно говорит священник; вокруг царит тишина: это обычная обедня. Женщины перелистывают молитвенники в переплетках, отделанных слоновой костью, и, затянутые в корсеты, не в силах согнуть спины, время от времени наклоняют перед алтарем головы; мужчины поправляют складки одежды, временами припадая на одно колено, и у всех такой вид, будто они смотрят представление.

И вдруг... я увидел Арменису. Здесь, в этом святилище, она мне кажется еще красивее. Среди физиономий в масках искренне и одухотворенно только ее лицо, и от этого оно детски наивно. Но я отвел от Арменисы свой восхищенный взор, чтобы не привлечь внимание окружающих. Но что же мне делать? Затерянный в этом благопристойном и высоком обществе, одурманенный запахом духов, исходя-

шим от дам, я прилагаю все усилия, чтобы не сделать какого-нибудь не подходящего к моменту движения.

Стесняясь и боясь вызвать улыбку у насмешливо-внимательной к чужому человеку толпы, я боюсь сесть и не осмеливаюсь выйти. Напрасно я стараюсь призвать воспоминания своего детства, напрасно силюсь понять, что это такое — начало ли службы или ее конец. Я близок к отчаянию; со лба скатываются крупные капли пота; вдруг я замечаю, что несколько человек уходит.

Вот оно — спасение! Нельзя упускать случая. Призываю все свое мужество и, не медля ни минуты, устремляюсь к выходу. Да, именно устремляюсь, потому что вижу, как Армениса направляется туда же. Мы сталкиваемся у паперти; прежде чем выйти, она обмакивает пальцы в мраморную чашу и крестится. Я не знаю, что это за вода, но делаю то же, что и Армениса. От нее ли, а может быть, от воды исходит надежда на счастье, проникающая мне в душу. Армениса смотрит на меня и подобно лучу, рождающемуся на горизонте, на ее красивых розовых губах, появляется улыбка.

Так началась наша дружба. Чаша соединила наши руки, и капля святой воды растопила ледяную стену, разделявшую нас.

Во время обратного пути на пароходе мы снова оказались рядом. Армениса говорила со мной о красоте неба, о капризах здешнего климата, об экскурсиях по Халки, а я, боясь потерять ее расположение, приобретенное по воле счастливого случая, взвешивал каждое слово и отвечал ей с таким благоразумием, что мог показаться недалеким и глуповатым. Теперь она

была со мной искренна, как старый друг. Смеялась над здешними молодыми людьми, и я чувствовал, что ее насмешки отчасти относились и ко мне. Вдруг, глядя на меня в упор, она спросила:

— Вы ведь католик, не так ли?

Вопрос был неожиданным, но я не растерялся.

— Да, — ответил я коротко, точно подчеркивая, что вопрос излишен.

Удивляясь, как мне удалось, не колеблясь, произнести эту явную ложь, я почувствовал, что мой твердый ответ убедил ее.

— Это видно уже по вашему умению говорить. Армяне, — она произнесла это слово с явным презрением, — не могут говорить по-турецки так, как вы.

Мы все время говорили по-турецки. И эта убежденная католичка казалась мне фанатичной ненавистницей армян, и все же я любил ее.

Да, я любил Арменису и обрел счастье в своем тогдашнем вероотступничестве. Вопрос: «Вы католик?» — содержал в себе нечто категорическое, понятное лишь сердцу влюбленного. Без колебаний, без угрызений совести говоря «да», я скрыл свою веру так же, как если бы я скрыл свою бедность от богатого человека.

Как легко произнести «да»! Это маленькое слово состоит из двух звуков и обозначает половину всей вселенной, ибо «да» и «нет» заполняют всю вселенную. Я перешел Рубикон и был очень доволен. Как я и думал, она была не просто католичкой, а фанатичной ненавистницей армян; то позорное обстоятельство, что она происходила из нашего бедного и гонимого племени, вызывало в ней непримиримую и дикую ненависть

к армянам. Католичество доставляло ей истинное удовлетворение. Оно давало ей возможность чувствовать себя представительницей как бы другой нации и, конечно, другой веры и позволяло раз и навсегда стряхнуть с себя позор принадлежности к армянам. Армениса была из тех, кто на вопрос о национальной принадлежности мужественно отвечают:

— Я католического вероисповедания.

Я ни разу не слышал, чтобы она произнесла какое-нибудь армянское слово. В разгар борьбы между сторонниками и противниками Асуна<sup>1</sup> она стала яркой сторонницей Асуна, так как для нее было куда приятнее превратиться в настоящую латинянку, чем оставаться плохой армянкой.

Но важнее, чем асунизм, для нее было католичество. Тут она была правовернее самого папы. В церковь армян римского исповедания она ходила только тогда, когда под боком не было европейской католической церкви. Ее семья, не расставаясь со своей верой, из Анкары переехала в Прусу, а из Прусы переехала сюда.

Ее фанатизм увлекал и покорял меня не меньше, чем ее красота.

Отступать перед доказательствами Арменисы для меня было бы истинным наслаждением, но в ее глазах я уже был католиком. Теперь, когда я пылко любил ее, моя ложь угрожала превратиться в настоящее

---

<sup>1</sup> Асун, Антон (1809—1884) — патриарх армянской католической церкви. Противник национальных традиций армян. Выступал за полную латинизацию армянской католической церкви.

отступничество. Казалось, я был согласен со всей ее непримиримостью.

О мире она имела невероятные представления, которые я опасался опровергнуть. Эта маленькая, любимая мной головка самой высокой властью считала власть римского папы. Неизменно побежденный и робеющий перед красивой, невежественной и набожной женщиной, я только сердцем своим переживал несправедливые обвинения против моей нации и религии.

Но Армениса, сама не ведая того, своими ласками заставляла меня забыть об этом.

Итак, постоянно терзаемый удовлетворенными и всегда ненасытными желаниями, в которых заключались и моя вина и мое оправдание, постоянно колеблясь между совестью и любовью, я с ужасом вспоминал свое дерзкое вранье и думал о том, что однажды оно может раскрыться.

Любовь Арменисы, бурная и гневная, чем-то походила на ненависть. Она была не из тех женщин, которые, однажды поддавшись соблазну, уже не в силах удержаться, и унижаются все больше и больше. В своем падении она, наоборот, поднялась выше. Еще неопытной девушкой она стала жертвой обмана, и теперь лицо ее было не по годам серьезным и задумчивым. И, будучи женщиной скромной, она вызывала к себе уважение. Чем я нравился ей? Не понимаю. Знаю только одно — я стал самым счастливым из людей.

Небо казалось мне как никогда чистым и синим, море — необыкновенно тихим, а его волны таинственными и полными сладостного шепота; я полюбил цветы, деревья, горы и одиночество; ночные звезды стали для меня задушевными друзьями; я стал добродуш-

ным и скромным и впервые видел вселенную во всем ее величии, восторгался и писал стихи. Одним словом, я был влюблен.

Жизнь — дивное видение, когда на нее смотришь сквозь щель, образовавшуюся в занавесе, который называется молодостью.

И отныне я не увижу тех дней блаженства и не попытаю таких терзаний совести.

Армениса была со мной безгранично ласкова. Мою растерянность и робость она предпочитала смелости предприимчивого человека; таковы женщины — своим любимым они хотят оказывать материнскую заботу, такую заботу, которая непременно предполагает власть; стыдливый юноша, который впервые в жизни держит в своих ладонях руку женщины, любим больше, чем опытный и дерзкий молодой человек.

С нами случилось что-то невероятное: мы оба были счастливы; говорю невероятное, так как в любви обычно счастье одного складывается из страданий другого.

Мы не скрывали своей близости. Все удивлялись и завидовали мне. И никто так и не узнал, каким путем мне удалось достигнуть этого счастья.

Мы вдвоем часто гуляли по острову, рвали растущую у дороги дикую землянику. На закате, в небольшом лесу Монастыри, скрытые от любопытных и злых взглядов, мы одни, совсем одни, держа друг друга за руки, сидели под каким-нибудь деревом, а перед нами расстилалась синяя гладь Мраморного моря. По ночам Ахилия, наш юный гондольер, шестивесельная лодка которого всегда была наготове, мчал нас при

лунном свете по тихим, спокойным волнам к таинственным, пустынным берегам Принкипо.

У Арменисы был красивый голос, и она как никто умела придавать своим песням такую задушевность, которая утешает сердце человека и наполняет глаза слезами. Обычно она пела о любви и горе.

Иной раз она, казалось, досадовала, что любит меня.

— Мы не созданы друг для друга, — печально покачивая головой, говорила она.

Армениса ни разу не спросила, откуда я родом, кто мои родители. Я был католиком, и этого было достаточно. О ней я тоже знал очень немного, причем многие мои сведения были построены скорее на догадках.

Вначале я называл ее «мадам». Впоследствии, когда мы стали близки, я называл ее просто Мари. Однажды я ей сказал, что впервые узнал ее под именем Арменисы и что все жители острова звали ее так.

Я не в состоянии передать возмущение, охватившее ее при этих словах.

— Я католичка, — сухо ответила она.

Старый ее друг все еще иногда приезжал. Это был банкир, француз по национальности. Их знакомство продолжалось уже несколько лет. Я был убежден, что он любовник Арменисы и оплачивает все ее расходы. Он был из тех людей, которых не стесняются. Всегда покорный и почтительный, он представлялся мне одним из нагруженных золотом ослов, что встречаются на каждом шагу.

Банкир много ел и мало говорил. За все то, что он давал ей, Армениса расплачивалась слишком малым, но он не роптал. Самым большим наслаждением для

него было доставлять Арменисе какое-нибудь удовольствие. Не имея ни детей, ни родственников, он готов был пожертвовать ради нее всем. Банкир хотел жениться на Арменисе, но молодая женщина решительно отказалась продать свою свободу.

Наша жизнь протекала в согласии и взаимной любви. Армениса даже не подозревала, что я грегорианец, но я, говоря откровенно, страдал от моего невольного вероотступничества.

Армяне были основным предметом ее насмешек. Ее нападкам подвергался наш язык, которого она не понимала, наша церковь, порог которой она не переступала из-за боязни совершить грех. Осторожно, чтобы не вызвать у нее подозрения, я пытался оспаривать ее ошибочные, ничем не обоснованные суждения.

И все-таки в своих собственных глазах я был ничтожным человеком. Совесть моя возмущалась, я постоянно чувствовал позор своего падения. Но мне легче было потерять жизнь, чем Арменису.

Однако сколько же могло длиться мое притворство? Ведь какой-нибудь непредвиденный случай мог обнаружить правду. Я ежеминутно содрогался от страха потерять Арменису. Да, счастье мое было горьким, но от этого не менее желанным.

В одно воскресное сентябрьское утро — в тот день был церковный праздник — мы сидели в приморском казино. Казино постепенно заполняли роскошно одетые, накрашенные гречанки. Играл оркестр. Пришвартовавшийся к пристани пароход привез в Халки на экскурсию праздную публику.

Мы смотрели на спускающихся по трапу. Вокруг царило всеобщее веселье, а я, как никогда счастливый, охотно смеялся над шутками Арменисы. Вдруг какой-то человек, высокого роста, с седой длинной бородой, в черной рясе и накинутым на плечи эфодом<sup>1</sup>, увидел меня издали, кивнул мне и направился в мою сторону. Эту черную рясу и длинную бороду я узнал сразу.

Подходивший ко мне человек, с добрым лицом и приятной улыбкой, был для меня в тысячу раз страшнее, чем тень самого Банко. Ко мне подходил священник, духовник нашей семьи. Он был порядочным, добродушным и снисходительным человеком и любил поговорить. Святой отец не забывал нас никогда. Он крестил меня и любил как сына. Я почувствовал приближение бури и напрасно пытался избежать ее; тщетно искал я какую-нибудь щель, чтобы исчезнуть в ней бесследно.

— Здравствуй, сын мой! — раздался в ушах монах голос батюшки, который уже успел подойти к нам и говорил, не замечая моей растерянности.

— Вот я и нашел тебя. Где же вы живете? Ты ведь не исповедовался у меня с прошлого года. Сегодня вы должны исповедаться всей семьей, а в следующее воскресенье съездить в Гнал для принятия святого причастия. Кто эта дама? Я не знаю ее.

Дама? У меня не хватало мужества даже посмотреть ей в глаза. Я сделал жест в направлении Ливати якобы для того, чтобы показать ему наш дом.

---

<sup>1</sup> Э ф о д — шерстяная накидка.

— А отец дома?

Вместо того чтобы сказать «да», я покачал головой.

Понял ли он что-нибудь из моего молчания? Не знаю. Но мои страдания, видимо, произвели на него впечатление. И он меня оставил.

— Не опоздай, — сказал он мне повелительным тоном и ушел.

Во время этой беседы Армениса не проронила ни единого слова. Заметив приближение попа и не думая, что он направляется ко мне, она собиралась высмеять его и немного позабавиться. Но когда священник подошел прямо ко мне и заговорил как со старым и близким знакомым, Армениса была поражена. То, что она услышала, показалось ей невероятным. Но она поняла все.

Едва священник удалился, она пристально посмотрела мне в лицо. Я испытал такое ощущение, словно этот взгляд, холодный и острый, как кинжал, вонзается мне в сердце. На лбу у меня выступил холодный пот, я опустил голову.

— Значит, ты не католик, ты все это время обманывал меня? — спросила она дрожащим от ярости голосом.

Бледность моего лица красноречивее любых слов свидетельствовала о моей вине.

— Почему ты не отвечаешь? Ведь ты обманул меня, не так ли? — гневно кричала она, не обращая внимания на окружавшую нас толпу.

Я молчал.

— Ну говори же, я жду! — вся бледная, настаивала она.

Сидевшие вокруг стали обращать на нас внимание.

— Здесь не место для подобных разговоров, все смотрят на нас, потом все объясню, — сказал я ей, пытаюсь спасти положение.

— А где же, где это место, скажи?

— Пойдем в гостиницу.

— Хорошо!

И, сгорая от нетерпения услышать мои объяснения, быть может и оправдания, Армения поднялась с места. Я последовал за ней, как арестант, и, несмотря на свои старания, не мог ничего придумать. Шел и чувствовал — настал час расставания с мимолетным счастьем. Я знал — Армения упряма и мстительна, снисхожденья ждать не приходилось. Потеря моя была безвозвратной, расставание окончательным.

Пришли в гостиницу. Как бы я хотел, чтобы дорога к ней тянулась бесконечно и мы никогда не дошли бы до места!

Вместе вошли в комнату, в нашу напоенную ароматами, приветливую, полную обещаний комнату. Теперь я входил в нее как обвиняемый, а спустя минуту должен буду выйти из нее осужденным.

Расстаться с этой комнатой было нелегко, но и продолжать свою лживую игру я не мог. Одно произнесенное мною слово некогда сделало меня счастливым. И покончить с моим греховным и преступным блаженством я также решил одним словом.

Но встать и уйти спокойно я был не в силах, сердце мое разрывалось от досады. И тогда я в горячей речи излил перед ней все свои душевные муки, рассказал о величии моей любви и преступлении. Армения, удивленная, слушала меня не прерывая, позволяя мне высказать то, что накопело у меня на душе. Я защи-

шался с отчаянным мужеством. Обрушиваясь на религиозные убеждения Арменисы, я мстил ей за свое двухмесячное притворство. Нанося удары по ее заветным принципам, я понимал, что мой уход неминуем и безвозвратен.

— Как бы ты меня ни ненавидела, я буду любить тебя. Моя любовь чище и искреннее твоей, — сказал я, — она искупит мою вину; твоя же любовь — это один слепой фанатизм.

Армениса удивилась моей смелости. Она никогда не думала, что я могу быть таким. Мое волнение на какой-то миг тронуло ее сердце. Но издевательства над ее убеждениями с новой силой пробудили в ней религиозное чувство.

— Хорошо, хорошо, — прервала она меня, — короче говоря, ты грегорианец и все это время выдавал себя за истинного католика; ну что ж, пусть так, но после этого между нами все кончено. Ступай к своему попу исповедоваться; ведь этот бедняга уже давно ждет тебя.

— Хорошо, я так и сделаю.

Я ушел, вернее выскочил от нее, как из обрушивающегося дома, боясь, как бы на меня вдруг не упали стены; ушел и оставил в этой маленькой комнате свои мечты и надежды. И я больше не вернулся.

В пути я встретился с нашим поваром, который меня искал повсюду. Оказывается, батюшка, желая исповедать меня, все еще ждал в нашем доме.

— Только этого мне и не хватало. Пусть подождет, — крикнул я на слугу и как безумный помчался прочь — сам не ведая куда и зачем.

Армениса проболела около недели. Волнения последних дней оказались ей не под силу. Она искренне полюбила меня, и наш разрыв был для нее тяжелым. От прислуги я узнал, что после моего ухода она долго плакала. Каждое утро я ходил в гостиницу и тайком справлялся о ее здоровье.

Вскоре она выздоровела; тревога улеглась, болезнь умерила ее гнев, негодование уступило место спокойствию, спокойствие — раздумьям.

Эта встряска разрушила зыбкое здание предрассудков, воздвигнутое в ее сознании. Армениса была умна и рассудительна. Она полюбила меня не только сердцем, но и душою. Размышления привели ее к выводу, что, будучи грегорианцем, я не переставал быть тем человеком, кого она любила. Ей пришлось признаться, что, считая армян грубыми и дикими людьми, она просто клеветала на них. Армениса искренне привязалась ко мне. Она поняла величие моей любви, поняла, почему я обманул ее, и простила. Она помирилась со мной и, постигнув всю безмерность моей жертвы, вознаградила меня еще большей жертвой. Я католиком притворялся, а она по-настоящему приняла грегорианство — ведь мы поклонялись одному и тому же богу. А разница наших вер — это одни только предрассудки. И любовь одержала победу над ними, так же как на время заставила отступить мою совесть и убеждения. Но наша любовь после этого длилась недолго. Взаимное самоотречение исчерпало всю нашу привязанность. Армениса приняла мою любовь и заплатила за нее своей. Но прежние счастливые дни к нам больше не вернулись. Мы оставались друзьями, но любовниками не были больше никогда.

Расставшись с предрассудками, эта женщина потеряла самую главную из своих прелестей: она перестала быть необычной.

Теперь я понимаю, что женщинам нужно оставлять их заблуждения, ошибочные мнения и даже их дурные черты. Женская натура — это нечто целое и неделимое, тут ничего трогать нельзя.

Став женщиной благоразумной, Армения перестала быть интересной.

А может быть, время сделало свое и я потерял интерес к ней. Да, быть может, и так.

Она уже не сердилась, когда ее называли Арменией. Это имя осталось ей в память о нашей любви. Потом обстоятельства разлучили нас. Прошли годы. И я узнал, что Армения вышла замуж за своего пожилого друга.

## ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!



анняя обедня начиналась в сырой и холодной полумгле декабрьского утра; колокол гулко звучал в морозном воздухе; голос старого священника понемногу пробуждал пустую уснувшую церковь, и под ее высокими сводами, казалось оживая, ему многоголосно откликались каменные стены.

Священник тянул молитвы, ожидая запоздавших прихожан, — не легко поспеть к церковной службе в будни, зимой, на рассвете!

Служба казалась нескончаемой.

«Господи, омой грехи мои и очисти беззакония мои...»

Глухо и монотонно раздавались слова молитвы, тонувшие в холодном предрассветном сумраке; по исконному обычаю седой старины, безучастно произносились они в мутной пустоте храма.

На амвоне мелькнула тень — это пономарь, страж каменных стен, непоколебимый исполнитель долга; он

преклоняется перед этим безмолвием, перед висящими у алтаря лампадами, перед святыми ликами; изможденные святые близки и дороги ему, как больные чада, и он без усталости переходит от одного образа к другому, поддерживая перед ними угасающие огоньки свечей.

Постепенно один за другим появляются: звонарь, нищий с деревянным посохом, а за ними обремененный житейскими невзгодами трудовой люд, едва успевший проснуться. Но утро уже вступило в свои права; спешащие на работу на миг заглядывают в церковь: перекреститься и попросить у бога счастливого дня. Таковы обычные богомольцы.

Меняла, или сараф, как называют мелких закладчиков на Востоке, в это утро запоздал в церковь; лишь к половине обедни поспел тот, чьей гордостью было ежедневно повторять с начала до конца весь чин церковной службы.

Несмотря на нестерпимый холод, он вошел, обливаясь потом и задыхаясь, обремененный своей неповоротливостью и тучностью; сняв феску и показав жирный, лоснящийся череп, меняла опустился на колени и принялся усердно креститься. Громкий возглас вырвался из груди его:

— Господи, помилуй!

Никогда эта мольба о пощаде не вырывалась из его уст с такой неутешной тоской, с такой искренней скорбью.

Коленопреклоненное тучное тело менялы, поникшая голова, полузакрытые глаза являли вызывающее жалость зрелище: это была смиренная покорность божескому правосудию. Меняла громогласно, не боясь,

что его услышат, неистово каялся в грехах своих, вымаливал за них прощение:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

Затем, облегченно вздохнув, поднялся, и сильный голос его, на удивление молящимся, завторил голосу священника.

Чудится меняле, что не священник, а он здесь хозяин — притвор, паперть, ризница принадлежат ему. И смело меняла первым, раньше священника, начинает молитву и звонко чеканит слова, усугубляя их смысл и святость; устав, он передохнет с минуту, и опять мощный голос его сливается с невнятным лепетом священника. Меняла косится на духовного отца, когда тот ненароком ошибется или замешкается при возгласе.

И опять переходит к жарким своим молитвам и поклонам без конца, касаясь губами и лбом пыльного пола, с жалобным рыданием вспоминает он о грехах своих:

— Господи, помилуй!..

Таков был меняла Мартирос-ага. Ни одной обедни не пропускал он; никаких погрешностей, никаких ошибок при чтении священных текстов не допускалось на церковных службах в его присутствии.

Самого священника смущало благочестие этого мирянина; весь церковный клир склонялся перед ним; крестьяне глубоко чтили верующего богатея, которому крупное состояние не мешало оставаться покорным и богобоязненным.

У себя в меняльной лавке Мартирос-ага был человеком властным. Он рано осиротел; но у него было много дядей и племянников, которые один за другим приходили к нему учиться наживать деньги, учиться деликатному обращению с вкладчиками; оставаясь у него, они принимались вместе с ним читать аккафисты. Так незаметно делались они маленькими подобиями Мартироса-аги, ловко изыскивая пути для примирения бога и маммоны.

Но никто из них не сумел скопить такого богатства, какое нажил себе Мартирос-ага.

Далеко им было до него, как ни разворачивали маленькие хищники свои врожденные ростовщические способности, как ни плели сети хитроумных уловок, как ни истомлялись они от раболепного подобоострастия перед знатыми. О, всякому из них становилось ясным, какими сложными путями удалось туго набить мошну их умному родичу!

Много лет назад с дальней родины в Стамбул прибыл тощий, слабый юноша, с пятьюстами курушей, сколоченными ценой непрерывных унижений и нечистых сделок с совестью, завел собственный сундук меналя, сундук всепоглощающий и необычайно прочный. С этим сундуком никто не умел так обращаться, как тот, кто на родине звался Мартиросом: недаром он был некогда дьячком и прекрасно усвоил церковные заветы о бережливости.

В юные годы всю свою бедность, все сиротство свое забывал Мартирос под стихарем дьячка. В доме божьем, перед лицом всевышнего, вдруг поднимался он из своего ничтожества, становился равным людям

высокого положения, богатеям; мало того, своей набожностью Мартирос даже превосходил их, — о, как было ему не любить церковь! Там провел он беспечные годы своего отрочества. Убедившись, что царство небесное дано сиротам и бездомным, Мартирос ничуть не сокрушался, что бог обделил его.

Но вот ему минуло восемнадцать лет, и родные принудили его отправиться в Стамбул, чтоб стать человеком, словно, оставаясь в бедности, быть человеком нельзя.

И на протяжении всего тяжелого пути, и в самом Стамбуле взгляды и верования Мартироса ему негодились.

Нет, столица ничуть не походила на родной край. Тут не увидишь ты ни дырявых крыш, ни широких крестьянских шаровар, ни грязного тюля на головах женщин. Новый мир пробудил в юноше новые мысли; жадность к наслаждениям толкала его к стяжательству и наживе. И набожность его, до тех пор бескорыстная, теперь походила на взыскательную, алчную пасть.

Теснясь в уголке храма, он неустанными молитвами и славословиями выпрашивал у бога денег, и только денег; и мелкие суммы, что получал он за тяжелые труды, дивили его и казались ему божьими дарами, наградой за молитвы.

Так незаметно росло его хищное благочестие. Когда Мартиросу случалось удачно поживиться, он видел в этом проявление милости божьей и находил излишним советоваться со своей совестью. Разве господь не знает сам, кого следует облечь благодатью своей?

Только однажды охватили его сомнения. Один из друзей Мартироса-аги, искренне веровавший в его благочестие, крупную, очень крупную сумму, умирая, вручил меняле, с тем чтобы эти деньги разделены были между его родными и соотчичами. Сидя у постели больного при закрытых дверях, Мартирос-ага сначала даже не поверил такому счастью, такому великодушью судьбы.

Он почувствовал, как неодолимая дрожь охватила его при виде денег, лежавших в сундуке приятеля; сперва замыслил было задушить больного, забрать деньги и дать тягу — глупая мысль! Желание свое он поборол — выйдет ли из этого толк? И, словно подслушав его мысли, провидение пришло к нему на помощь, избавило от страшного искушения.

Нет сомнения, что это перст божий указал на него больному, — и Мартирос предоставил богу творить свою святую волю.

Сначала Мартирос-ага возражал было, отказываясь принять деньги друга, но возражал вполголоса: как бы не подслушал кто-нибудь. Потом, постепенно смягчаясь, поговорил об условиях и прежде всего о том: надо ли будет ему платить проценты. «Нет!» — воскликнул умирающий. Тогда Мартирос-ага окончательно сдался, получил деньги и, пересыпая речь библейскими текстами, превознес чадолюбие больного.

А тот вскоре скончался, и Мартирос-ага на похоронах был признан лучшим другом усопшего: так безутешно плакал и убивался он.

На всем протяжении длинного пути до кладбища Мартирос-ага не переставал говорить о покойном друге: восхвалял его доброту, благородство и горько

рыдал, в то время как другие, идя за гробом, толковали о коммерции, о накладных, о балансе...

И Мартирос-ага, слушая этих людей, предавшихся суете земной, вышел из себя и голосом, полным скорби, изрек:

— Господи, помилуй!

Провожавшие приумолкли и некоторое время шли, не говоря ни слова. Потом кто-то, кажется торговец красным товаром, возобновил прерванную беседу:

— Пора вырвать у приезжих купцов торговые права...

С глубоким сознанием долга, считая усопшего своим благодетелем, Мартирос-ага и допустить не мог, чтобы кто-нибудь осмелился отзываться о нем дурно. Неужели же покойный не был достоин огромного своего состояния? Нет, друга его, конечно, следовало называть вполне безупречным. Но Мартирос-ага не стал раздумывать, может ли он присвоить денежки усопшего, имеет ли он право распоряжаться чужим добром. Он просто спросил себя: почему именно ему господь поручил это богатство, а не кому-нибудь другому? Вопрос этот разрешался блистательно: сам бог дает ему случай разбогатеть, чтобы именно он, Мартирос-ага, человек благочестивый, воспользовался несметным добром. Нет, поистине человеку, не осененному божьей благодатью, даже и мысль такая в голову не придет.

Проникнув в предназначения всевышнего, Мартирос-ага смиренно и удовлетворенно принял великий дар провидения:

— Благословенна будь воля божья!

Родственники покойного тем временем впали в нищету. Вдова обращалась к Мартиросу-аге и скромно, как лучшего друга мужа, просила его о помощи.

Мартирос-ага не отказал. В душе его пробудились сомнения; на мгновение мелькнула мысль: не совершает ли он воровство? Но снова благочестивые мысли просветлили его душу: если это и грех, то прощаются смертным любые их прегрешения при условии искреннего раскаяния и мольбы о милосердии. И потому с таким усердием в храме божьем он жалобно взывал:

— Господи, помилуй!

Мартирос-ага внушил себе: надо помогать родне покойного, но долю, предназначенную народу, сберечь. Не отдавать же народу деньги прямо в руки — ведь все равно их прикарманит кто-нибудь другой из власть имущих.

Объятый тревогой и заботами о благе народном, Мартирос-ага берег деньги, то есть пускал их в оборот, в его ловких руках они быстро давали прибыль. Успех, выпавший на долю менялы, оправдывал все его деяния: значит, шел он по верному пути, указанному ему свыше, значит, бог принял его покаяние, — покаяние, что изрекал он постоянно с глубоким горестным вздохом:

— Господи, помилуй!..

## ЯКОРЬ



на была необычайно набожна. Все тайны природы, все явления жизни она считала промыслом божьим, хотя была женщиной неглупой.

Молитва являлась самой насущной потребностью ее души. Привычку молиться в определенные часы она унаследовала от родителей и надеялась передать ее своим детям.

Будучи дочерью некогда богатого, но вконец разорившегося человека, она, еще совсем молодой женщиной, с первых дней замужества не сумела завоевать расположения новой родни и в богатом доме своего мужа чувствовала себя неуверенно. С тех пор утешение она находила только в молитвах. Софик-ханум любила маленькую деревянную церковь, рядом с которой находился дом ее мужа. От церкви его отделял лишь сад. Из одного окна своей спальни она видела море, его вечно волнующуюся беспредельную синеву, из другого окна — каменные арки церкви. Выступающие с двух сторон наружные стены ниш вместе с вытянувшимся в высоту зданием составляли массивный равносторонний крест, похожий на надежный неподвижный якорь, к которому Софик-ханум протягивала свои руки.

Свое замужество, ознаменовавшее для нее начало тяжелой борьбы с жизнью, она считала испытанием, ниспосланным ей богом, и с первых же шагов на этом тернистом пути вверила себя воле всевышнего.

Другие женщины одевались на праздники и гулянья, а она надевала свои наряды обычно лишь для того, чтобы воскресным утром пойти в церковь и, заняв свое привычное место в углу на хорах, помолиться. Однако в ее туалетах был заметен врожденный вкус — они были изящны, даже изысканны.

Красивые шляпки, туфельки и платья этой молодой женщины привлекали к себе восторженные взоры прихожан. Четверги великого поста, рождественские праздники и пасха были для нее днями невыразимой радости.

Во дворе у паперти обычно стояли мужчины: ждали, когда она, показывая из-под сшитого в талию платья кончики маленьких туфель, пройдет мимо них с высоко поднятой головой, улыбающаяся и счастливая, держа в руках молитвенник, отделанный слоновой костью, и распространяя вокруг еле уловимый аромат духов.

Иногда, преклонив колена и усердно крестясь, она задерживалась возле паперти, своей страстной мольбой приводя в восторг всех прихожан и в особенности мужчин, которые ходили по пятам за этой красивой, посвятившей себя богу женщиной.

В набожности заключалось все ее обаяние. Только религия давала ей силы побеждать самое себя и обуздывать томление страсти.

Для подобной набожности имелись свои причины. Ее отец в свое время был богат, но потом обеднел. В юности она иногда месяцами мечтала о ситцевом платье и, глядя на убогое убранство своего жилища, мучилась желанием иметь роскошную, красивую квартиру, но все же ничуть не отчаивалась. Она верила, хотя и не знала почему, что нуждаться она будет не всю жизнь, что старенький их дом — не последнее ее пристанище. Как в тумане вставали перед ней воспоминания о былой роскоши, в которой она жила в детские годы. Она вспоминала просторный дворец с многочисленной прислугой, анфиладами залов и комнат; эти воспоминания воспаляли ее воображение, пробуждали заветные мечты и терзали душу.

И она думала, что вернуть ей все утраченное может только какое-то необыкновенное, сверхъестественное существо — бог, который находится где-то тут, рядом. И чем сильнее были ее пока еще остававшиеся бесплодными желания, честолюбивые мечты, тем сильнее и тверже она надеялась на бога. Она веровала, потому что для ее страждущей души вера была необходима.

А теперь вера значила для нее еще больше, так как ее девичьи мечты вдруг стали явью благодаря безотрадному, о, совершенно безотрадному замужеству. Исполненная искренней благодарности, она с каким-то наивным эгоизмом думала, что: «Если довольна я, то должны быть довольны и другие», — и сама, в свою очередь, стала защитницей бога от всякого рода маловеров, возраставшее число которых вызывало у нее боль и удивление. С ними она спорила с неподдельным чувством, не замечая слабости своих доводов. Некоторые насмеялись над ее непоколебимой уверенно-

стью: они перечисляли ей всевозможные бедствия, гибель людей, разорения, пожары, вина бога за причиненное людям горе. Некоторые богохулы вообще отрицали существование каких-либо богов, и Софик-ханум, не в силах вынести такого святотатства, поднималась со своего места и, протянув руки к небесам, восклицала:  
— О боже, что я слышу!

Ведь она видела от бога только одно добро. Что же касается людей, ставших жертвами смертей и разрушений, то если бог их и карал, на это у него, вероятно, были свои причины.

Теперь Софик-ханум переживала вторую молодость.

Каждая женщина, прежде чем шагнуть в старость, на какое-то время вдруг снова обретает свежесть и очарование юности. Софик-ханум была озарена очарованием этого заката, и мужчины, если бы им пришлось выбирать, предпочли бы ее, нежели ее дочь.

Она по-прежнему свято верила в бога, хотя за двадцать пять лет, которые пробежали, как волны, гонимые враждебными ветрами, перенесла много несчастий. Постоянные неудачи, причины которых она не понимала, не поколебали ее веры. В течение нескольких лет смерть вырвала двоих из четырех ее детей, а от всего богатства мужа осталось лишь одно воспоминание. Падение ценных бумаг и прочие неудачи, следовавшие одна за другой, разорили его окончательно.

За что же карал ее господь? Софик-ханум с волнением задумывалась над своей жизнью, перебирала в

памяти все мелочи прошлого, чтоб не забыть ни единого темного пятнышка на совести, ни одного злого намерения. И в этих бесконечных поисках она не находила ничего, что заслуживало бы жестокого наказания.

Больше всего Софик-ханум страшилась надвигающейся нищеты. Рассудок ее протестовал. Она тревожилась и удивлялась непонятному отношению к ней доброго бога.

Обращаясь к нему с молитвами, она без конца спрашивала его как близкого человека: «Чем вы обижены на нас? За какие грехи так гневаетесь?»

И, отчаявшись найти какую-нибудь основательную причину для господней немилости, устав думать о грехах, которые уже сотни раз были отпущены и прощены, она удалялась в свою комнату, в свою старую спальню, где прошла ее первая брачная ночь. Тут перед ее взором вставала низенькая, со всех сторон обнесенная оградой церковь; спокойная и равнодушная, она, как и прежде, напоминала якорь, как и прежде, внушала доверие.

Потом между ее домом и богом наступил кратковременный мир. В тот момент, когда они были уже окончательно разорены, на помощь пришел старший сын. А как она молилась, как часто просила бога за него, своего любимца, тщедушного и болезненного юношу. Теперь этот юноша находился на государственной службе, подавал большие надежды, и все его хвалили. И Софик-ханум стала упрекать себя в неблагодарности, в том, что на какое-то мгновение усомнилась в бесконечной милости божьей. Ежедневно утром и вечером бежала она в церковь и зажигала свечи перед алтарем и всеми иконами.

Прослышав о состоянии денежных дел ее мужа, многие люди перестали узнавать его на улице. Теперь же, проведая об успехах сына, снова стали с ним здороваться — будто он просто временно отсутствовал и только что вернулся из далекого путешествия.

В благодарность за милость божью Софик-ханум с признательностью человека, ценящего оказанную ему услугу, решила взять на себя заботу об украшении храма божьего. Вся церковь — большой и малый алтарь — она устилала коврами и ручными вышивками: изукрашенными золотом — в праздники, простыми — в будни.

Она ходила от дома к дому за святым подаянием, одному обещая выдать замуж дочь, другому — вылечить больного. Своих друзей и знакомых, как мужчин, так и женщин, она заставляла брать на себя обеты и делать приношения. Уверовав в могущество святого покровителя своей церкви, она заранее обещала всем исполнение их заветных желаний; и благодаря стараниям этой набожной женщины церковь обогатилась за счет многочисленных пожертвований. Теперь-то, надеялась Софик-ханум, она оградила свою семью от возможных бедствий.

Вот уже три дня как Софик-ханум проводит без сна у постели больного сына. Молодой человек простудился и заболел воспалением легких. Софик-ханум не в состоянии постичь нового удара; врачи приходят и уходят, качая головами; их беспомощность, в другое время достойная осмеяния, воспринимается теперь как нечто зловещее.

Софик охватывает невольная дрожь, когда они появляются, совещаются между собой. Ведь рядом нет никого, кто бы мог опровергнуть их приговор. И в те минуты, когда больной спит, ночью или днем, она, запыхавшись, бежит в свою церковь, к своему богу, чтобы пасть к ногам этого всемогущего целителя, слезно молить его о помощи.

Перед алтарем уныло мигает лампада. Иногда, в ночные часы, Софик страшится густых теней, в которых не может различить даже лика святых. Сейчас тут обитают одни невидимые духи. Они, встревоженные ее появлением, пугливо носятся из угла в угол, заполняют пустоту церкви какой-то незримой массой.

Она старается скрыть от больного свои переживания, но на ее лице ясно видна тревога. И Софик-ханум, не желая того, бессознательно начинает одеваться в черное.

А сыну становится все хуже, и она уже колеблется, не зная, на кого ей положиться, — на людей, на бога? Она боится, что помощь бога запоздает, и тут же раскаивается в своем страхе: великий грех сомневаться в промысле божьем.

Но неужели смерть отнимет у нее сына, единственную ее надежду?

Взгляд Софик-ханум переносится с безграничного, покрытого пеной моря к находящемуся рядом с ней прочному якорю. Он уже не внушает ей уверенности в спасении; теперь он вызывает предчувствие неизбежного крушения. Как же могло случиться, что всю свою жизнь она доверялась только ему, этому якорю, этой шаткой, ненадежной опоре.

Все уже кончилось, но Софик еще стояла у постели сына и чего-то ждала. Задолго до рассвета снова пошла в церковь требовать объяснения у бога; она украдкой проскользнула в святилище: ни души. Это была все та же знакомая ей маленькая церковь. Но в эту ночь Софик-ханум видела вокруг себя только голые и холодные стены, и они, эти бесчувственные стены, содрогались.

Пред алтарем в бледном свете лампы она увидела лицо богоматери с ее вечной улыбкой. Софик-ханум привычно опустилась на колени и обратилась к богу с гневной речью.

Блуждающие лучи светильника скользили по церкви, перенося тень стоящей на коленях женщины то на пол, то на каменный свод, то на балкон и колонны, причудливо колебля, круша и ломая ее. Часами бледный свет лампы забавлялся ее тенью, в то время как сама женщина все еще гневно протестовала, — она пыталась пробудить эти безмолвные стены, получить от них ответ. И вдруг, нечаянно обернувшись, она увидела тень, свою тень, черную и скорбную, как ее будущее, и эта тень представилась ей злой колдуньей, исполняющей нелепый и страшный танец на могилах близких.

Потом свет лампы изобразил на стене другую нелепую картину: на железной перекладине, соединяющей своды арки, показывая богоматери язык, мерно качалось на веревке тело женщины. Однообразное колебание тела постепенно становилось все реже, но, когда церковный ризник открыл утром двери церкви, оно все еще продолжало качаться.

## ТЕФАРК



з деревни, затерявшейся в горах неподалеку от Измида, приехала к нам в крестьянских шароварах, с плотно подобранными под черную косынку волосами женщина — воплощение твердой, несокрушимой воли, женщина, нарочито желавшая казаться непривлекательной и невзрачной: вся в черном, с лицом бескровным, болезненно бледным, отливающим снежной белизной и овечьим неумолимым холодом.

В отрешении от мирских удовольствий и благ, как и в жертве, приносимой памяти недавно умершего мужа, молодая женщина находила утешение и отраду. Она тем самым как бы создавала связь с потусторонним миром, связь с неземным, нездешним существом, охваченная простодушным желанием угодить ему, покориться его загробной ревности. В этом добровольном самоистязании проскальзывало своеобразное кокетство перед следящим за нею из потусторонних далей мужем. Молодая вдова как бы говорила:

«Для тебя, и только для тебя одного хотела я прежде быть красивой».

Это была женщина, без остатка ушедшая в свои обязанности служанки, неразговорчивая, односложно отвечавшая на самые необходимые вопросы.

Не радовалась, не смеялась она; ночью, после ужина, тотчас уединялась в своей комнатушке, голой и неприглядной, как келья затворника; там, бодрствуя целыми часами, вязала она нескончаемый чулок для своего малютки, оставленного в деревне.

Преданная своему делу, трудилась она не покладая рук, проворно шагая по дому в широких деревенских шароварах, усердно подметая и вытирая все до последней пылинки.

Однако вопреки всем усилиям мою комнату ей никак не удавалось привести в должный порядок: по десяти раз на день бедняжка прибирала у меня, и десять раз на день разрушал я ее труды — разбрасывал одежду где попало, швырял книги на пол, на диван... И все это снова и снова приводилось в порядок. Чудилось в ее безграничной заботливости какое-то единоборство с моей упрямой беспечностью.

Не жаловалась она, если только изнурительный ее труд не считать молчаливым протестом, — нет, не жаловалась, напротив, еще больше упорствовала бедняжка в своих усилиях и стараниях победить беспредельной снисходительностью своей мою безжалостную юношескую небрежность.

Я сознавал всю неуместность шуток с молодой служанкой, уважал ее искреннюю скорбь и всегда разговаривал с нею, как брат, — сдержанно, почти нежно, даже когда являлась необходимость приказать:

— Милая Марнам!

Мариам называли мы ее. Мать моя иного имени для служанок не признавала; настоящее же имя ее было Ашхен, и чужое имя в чужом доме, знаменовавшее для нее как бы отказ от прошлого, было отказом и от собственной личности. Даже имени ее не признают! Чужие люди беспечно, бесчувственно лишают служанку ее собственного «я», предписывают ей новую манеру говорить, новый покрой платья, приносят ей расстаться с деревенскими привычками.

Нелегко мириться с таким унижением. Имя Ашхен, не нравившееся стамбульцам, было самым любимым именем у молодежи ее родного села. Движения ее, одежда привлекали к Ашхен сердца юных односельчан, — и вот теперь приходится терять все, что составляло ее женское очарование.

Иногда я окликал ее: «Ашхен!» — тотчас же она, бросая работу, являлась на мой зов, как бы считая меня самым близким человеком в доме и гордясь в то же время, что родное имя ее не противно молодому стамбульцу.

Порою расспрашивал я ее о покойном муже, об оставленном в деревне ребенке.

Отвечала она тихо, раскрывая понемногу свое сердце, — сердце, истомленное, наболевшее, чуждое всякого утешения, хотя бы из-за одного того, что эта гложущая боль стала для него привычкой, потребностью, расстаться с которой было бы ей так же тяжело, как для курильщика отказаться от табака.

Теперь еще тщательнее убирала она мою комнату, украшала окна белыми и красными гирляндами роз,

приносимых из сада. Днем, когда я уходил, она являлась сюда вязать свой нескончаемый чулок в душном ароматном воздухе.

Помню дружеские укоры — укоры покорной служанки близкому человеку за разбросанные повсюду бумаги:

— Жалко мне тебя, мой эфенди, ведь ты над ними глаза испортил!

Одни ли только глаза! Вся свежесть юности, вся сила уходила на эти запыленные клочки... Если бы она знала!

Служанка видела меня только по ночам, когда я, поздно возвратившись домой, склоняясь над белым листом, принимался выводить на бумаге загадочные значки...

И, оберегая мой сон, ходила она утром на цыпочках и плотно завешивала окна, чтобы дать мне вволю отоспаться.

С нежным укором встречала Ашхен по утрам мой усталый, мутный взгляд и тотчас бросалась на кухню, спеша возместить недостаток сна заботами о завтраке.

А порой она просила мою мать образумить меня и заставить беречь здоровье.

— Ханум, скажи, чтобы по ночам он долго не засиживался, не губил здоровья.

— А ты по ночам вяжешь, — отшучивался я.

— Для моего малютки тужусь...

При упоминании об оставленном в деревне ребенке голос ее менялся, обычная грусть на лице сгуща-

лась; словно в панораме, возникали перед ней одна за другой, как бусинки перебираемых четок, невзгоды недавнего прошлого — двухлетнее замужество, болезнь мужа, распродажа домашнего скарба, покинутый ребенок и, наконец, жизнь под чужой кровлей. Страдание проступало в ее грустных глазах, на прозрачном выразительном лице... и беседа невольно прекращалась.

Как-то я обратился к ней:

— Не носи, Ашхен, эти шаровары! Надень здешнее платье!

Она смутилась. Европейское платье, подчеркивающее формы женского тела, пугливым глазам крестьянки казалось вызывающим, почти неприличным.

— Стыдно!

Однако я чувствовал, что противодействие ее ослабевает; ее решение казаться некрасивой начинало понемногу уступать моим настояниям, и она уже больше не произносила с твердым упорством слово «стыдно».

Европейское платье шло к Ашхен, но оно вызвало целый переворот в ее жизни: она стала похожа на существо, потерявшее родной край, родной воздух. Юбка в талии оказалась слишком узкой, а подол ее слишком широким; первые дни бедняжка ступала с трудом и зорко следила за каждым своим шагом, чтобы не казаться смешной; в вырезе платья ей чудилось предосудительное намерение выставить напоказ скрытые прелести.

Красота Ашхен в европейском наряде поразила нас: слушая похвалы своей внешности, она застенчиво краснела и тихо склоняла голову.

И постепенно она стала все усерднее заботиться о своей наружности — словно что-то растаяло в ее сердце; она старалась походить на столичных дам и с простодушием крестьянки, не жалея скудных средств, наряжалась как могла; одевалась всегда чисто, причесывалась тщательно; темно-синяя косынка, сдвинутая назад, едва держалась на голове, то и дело угрожая сползти и дать свободу пышным кудрям, нечаянно или нарочно непослушными прядями ниспадавшим на лоб до самых глаз; нежные, как бархат, волосы на затылке еще ярче оттеняли молочную белизну ее шеи.

От нее пахло какими-то неизвестными нам духами.

Напряженные и взволнованные усилия Ашхен понравиться были рассчитаны на одного меня; бывшие раны постепенно затягивались в ее сердце, которое теперь билось только для меня одного.

Любовь ее таила что-то трепетное и жгучее; это было полное самозабвение — самозабвение безмолвное, не подсчитывающее приносимых жертв! Нет! Это тайное чувство стыдилось своего нарастания; оно походило на землетрясение, затаившее взрыв вулкана, — без его громового и пылающего ужаса.

Ничего не требовала она взамен; одного лишь хотела — позволения вечно окружать меня своими неутомимыми заботами, следить, чтобы я не хворал, укладывать всю жизнь мою в какое-то уютное гнездышко, свитое ее заботами, дабы миновали меня горечь и скорбь.

Длилось это без малого месяц. Она усаживалась на полу, рассыпая мне на колени черные кудри свои,

сверкавшие, словно осколки угля; гордясь моими ласками, выгибалась и потягивалась она, как избалованная кошка.

Скоро мне надоела эта идиллия — в двадцать лет я еще не знал цены искренней любви. Самозабвенная преданность служанки постепенно начинала казаться мне ярмом, сбросить которое становилось невозможным; казалось мне — я лежу в больнице, тщетно пытаюсь вернуть себе здоровье и свободу.

Она не замечала уклончивости моей; простодушно думала, что огорчений мне не причиняет, следовательно, у меня нет основания отворачиваться от нее; не понимала несчастная, что размеры ее любви угнетают меня так же, как угнетают зной и тишина в ясный летний день.

Не знала бедняжка, что нам нужны притворные ласки, коварные соблазны, заставляющие безумствовать от любви. Не понимала, что ее невинная преданность несносна. В то же время она чувствовала, что я отдаляюсь от нее; тогда она пустилась на уловку, употребив крайнее средство, чтобы не выпустить меня из рук.

Когда Ашхен вошла ко мне, я сразу заметил, что на этот раз она особенно постаралась приукрасить себя. Она была все так же прелестна: стройная, белоликая, с милой поступью, в широко раскрытых, как у газели, глазах ее светилась печаль; и вдруг понесло от нее крепким запахом тефарика<sup>1</sup>, запахом удушливым и тяжким.

---

<sup>1</sup> Те ф а р и к — остро пахнущее притирание.

Уже не помню, как это случилось, только невыносимый аромат мгновенно заставил меня возненавидеть эту женщину; искал ли я просто повода порвать с ней, или же этот вызывающий запах, облюбованный женщинами былых времен, сразу выдал все искусственные и смешные стороны ее усилий пленить меня, — решить трудно.

Тефарик! Где добыла она его? Не успела бедняжка вымолвить и слова, как я еще издали крикнул ей с дикой грубостью:

— Чем это несет от тебя? Сейчас же ступай мыться!

Она промолчала и, словно пригвожденная к порогу, удивленно взглянула на меня, не понимая, почему ее невинный проступок заставил меня так безжалостно обойтись с нею. С минуту простояла она растерянная, как смертельно раненный на поле битвы солдат, который, не чувствуя раны, еще несколько мгновений держится на ногах — и вдруг падает навзничь.

О чем рассказать еще, — вам непременно хочется знать, чем кончилась история этой любви?

С неделю пролежала Ашхен в своей комнатушке, страдая воспалением легких; единственной причиной этой болезни был я. Ночью на кухне вымылась она с ног до головы, чтобы избавиться от липкого запаха тефарика, как того требовал я. И доктор, бывший скорее другом, чем врачом, дивился странным обычаям крестьянок.

— С ума она сошла, что ли, разве можно купаться на кухне!

Я хранил молчание. Врач продолжал недоумевать:

— Что скажешь, не спятила ли она?

Испуганный возможностью рокового исхода, я только об одном и думал — как спасти Ашхен.

— Выживет она, доктор?..

Восемь суток я провел в тревоге; потом началось выздоровление, но до того медленное, что походило на новую болезнь.

Теперь, когда я посещал ее и расспрашивал о здоровье, все еще продолжал ласкать меня ее милый и бесконечно трогательный взгляд; не было укора в этом взгляде, и, казалось, она сама была довольна этим новым доказательством своей преданности. Ей хотелось быть заимодавцем, приносящим необъятные жертвы, заимодавцем, прощающим все своему должнику за одно лишь ласковое слово.

Ни разу не вспомнила она о печальном случае — словно забыла о нем; между тем болезнь все затягивалась и бывшие силы не возвращались. Она чахла, угасала, и врач мрачно качал головой; воспаление легких сменилось новой болезнью — началась она непрерывным жаром и изнурительным потом...

Умерла Ашхен у себя в деревне, куда мы отправили ее по совету врача: умерла, оставив в сердце моем тяжелый укор, — укор, заставляющий теперь, через десять лет, запечатлеть грустную повесть о неблагодарности моей...

## ЖЕРТВА ДОЛГА

### 1



то был огромный прочный кошель. С ним бродил он с утра до ночи по улицам. Видавший виды кожаный кошель был неразлучным спутником его жизни. В нем каждый вечер приносил он домой мясо или фрукты двум своим дочуркам; они еще в дверях встречали его и нетерпеливо заглядывали в кошель, ни разу не обманувший их надежд.

Все усилия этого человека, все его изнурительные хлопоты поглощал, как бочка Данаид, этот кошель, который тридцать с лишком лет он безуспешно пытался наполнять. Вся его борьба за существование сводилась к этому мешку: все тяготы жизни, все будничные заботы о хлебе насущном, — ими была наполнена его вечная пустота; в нем были и радости, и горести, и воспоминания... Кошель помнил хорошие времена и времена плохие; у него была такая же обманчивая судьба, как у хозяина, и, кажется, душа

такая же. Кто же из них был настоящим хозяином?.. Только спустя тридцать лет, когда сплошные неудачи связали его железными путами, человек понял, что этот бесчувственный кошель и был извечным его хозяином.

## 2

Усеп-ага, седой мужчина среднего роста, некогда богатый купец, теперь жил перепродажей товаров, разнося по магазинам и по дворам тюки ситца и белья, стремясь угодить прихотливому вкусу потребителей...

Но кто сказал, что между спросом и предложением существует гармония?.. Напрасно Усеп-ага изо дня в день всячески убеждал покупателей, что товар дороже своей цены, а торговцев — что на этой сделке он сам терпит убыток, — нет, и покупатель и торговец упорствовали, и Усеп-ага в отчаянии опускал руки. Торговые тревожнения, хорошо знакомые еще в бытность его купцом, теперь опять владели им, скромным комиссионером, и грозили погубить его.

Эх! Будь он один — тогда пускай, но дочери, его милые девочки, с надеждой смотрели на него, — это были уже не прежние малютки, а юные девушки, полные чистых и невинных ожиданий...

Дочери — единственная радость Усеп-аги — угнетали его своими наивными девичьими улыбками, в которых отцовским глазам постоянно виделся упрек; как провинившийся, входил он в дом, смущенно глядя на дочерей, обреченных терпеть лишения; входил с

виновато опущенной головой, всегда сохраняя на лице выражение напускной бодрости, стараясь скрыть под этой маской тоскливую горечь растерянного и беспомощного человека.

### 8

Они снимали маленький домик за двести курушей в месяц в Ичатые, на Скутаринском холме. На стене комнаты, выходящей окнами на улицу, висел портрет молодой женщины — это была жена Усеп-аги. Умерла она еще в то время, когда дела мужа шли хорошо, умерла от чахотки, но память о ней жила, и не было дня, чтобы ее не вспоминали. Часто по ночам, когда дочери уже спали, отец долго и безмолвно стоял перед портретом жены. В ее застывшем взгляде разорившийся купец искал поддержку своим силам.

А душевные силы его таяли день ото дня, как капитал, некогда бывший в его руках, и теперь он чувствовал, как понемножку иссякает мужество его сердца. С раннего утра в его дрожащих руках был кошель, который несколько раз на дню возвращался домой полупустым... По утрам в гавани Усеп-ага терся возле купцов, которые иногда давали ему работу, как милостыню попрошайке. Изредка он осмеливался вступать в разговоры, всегда поддакивая говорящему. Шел он не вровень с купцами, а чуть позади, со своим неразлучным кошельком, и если выяснялось, что от кого-то купцы терпели убыток, Усеп-ага возмущался больше всех, обзывал обидчика плутом и мошенником за то, что тот вымогал товары у

его купца, этого почтеннейшего человека, и не платил денег. А временами, когда купцы бывали в хорошем настроении, он потешал их шутками и анекдотами, увеселял, в надежде снискать благоволение и получить хоть небольшую работу на завтра.

И купцы любили этого почтенного человека, который не был назойлив, как другие, и комиссионные просил, как бы не имея на то права, и всякий раз покорно склонял голову, даже когда ему недоплачивали.

#### 4

Ситцевые тузы, обремененные заботами, семеня к торговым рядам. Они уже не получали прежней прибыли от продажи лежалого шелка и обдумывали новые способы экономии: после оплаты таможенных пошлин и различных торговых затрат услуги посредников казались им обременительными. К чему им посредники? Разве они сами не могут покупать и продавать товары?.. Были еще и другие причины: ведь посредник в конце концов только посредник, а не хозяин товара. Он не может по-настоящему набить цену, как это сделал бы хозяин, и не может по-хозяйски выгодно сбыть его... Усеп-ага, шедший за ними со своим неразлучным кошельком, совсем уже упал духом.

— Усеп-ага, не о тебе речь, — добавляли купцы, — ты свой человек.

Бедняга облегченно вздыхал, но поденный заработок доставался все мучительнее, долги росли и безжалостно обступали его. Одевался он опрятно, и по

внешнему виду никто не мог бы догадаться о его ужасном падении.

Усеп-ага всюду таскал свой кошель, стесняясь оставить его где-либо или закинуть куда-нибудь, чтобы не выказать перед людьми своего отчаяния, ибо что скажут люди, увидев его с пустыми руками?..

В отчаянии Усеп-ага попросил два золотых у купца, за которым шел, и получил отказ: он уже должен был тому пять золотых — сперва надо было уплатить долг. В тот вечер пришлось ему продать за тридцать курушей свои медные часики, чтобы хоть немного наполнить кошель.

А дома было весело и радостно: дочери по-прежнему справлялись о его делах в ожидании чего-то хорошего.

— Как дела, отец? — спрашивала старшая. Младшая же, синеглазая, белокурая девочка — вылитая мать — добавляла:

— Не задерживайся так долго!..

Отец усмехался. Нет, дела идут не так уж плохо, а впредь, с божьей помощью, пойдут еще лучше.

— Завтра приходи пораньше и возьми нас погулять...

И бедняга отец обещал им, обещал все этим кротким обездоленным сиротам: и вернуться пораньше, и пойти погулять с ними.

Представьте себе прогулку, в которой самым впечатляющим зрелищем является вход в туннель темными каменными стенами, на другом конце которого никогда не увидишь ожидаемого просвета...

Утром, чуть свет, с первым парходом уезжал Усеп-ага в Стамбул, сжимая под мышкой свой

опустевший кошель — этого вечно голодного и вечно ненавистного врага своего, который за тридцать с лишком лет ни разу не насытил своей утробы. Он стискивал его так, словно давил это пустое брюхо, чтобы удушить его насмерть.

В Стамбуле делать было нечего; оставшаяся от продажи часов мелочь ушла на дорогу, и навстречу ему с ужасающей быстротой надвигалась минута, когда последние деньги за проезд с Гузкунчука в Стамбул — оплата поисков ускользящей надежды, потому что теперь даже погоня за надеждой стоила денег, — должны были кончиться.

А как быть дальше? Этот вопрос, занимавший его мысли, уйти от которого он не мог, вставал перед ним в воздухе огромными буквами, двигался впереди и всюду преследовал его.

## 5

Каково человеку, если у него теперь не только на хлеб, но и на проезд нет денег и он стоит как пригвожденный к месту?..

И Усеп-ага тщетно пытался понять все это. Шагая по улице, он комкал пустой кошель, и ему вдруг показалось, что он снова у себя дома, с милыми дочурками, и, на минуту отвлекшись, он забывал невольно о себе, о своем положении попрошайки без куска хлеба, чтобы хоть на миг почувствовать себя богатым и всемогущим.

Маленький домик звал его и как бы требовал, чтобы он создал в нем привольную жизнь своим

дочерям: шляпки, новые наряды, больше чем требует их юный возраст, гораздо больше, чтобы, глядя на их восторги, порадовался он сам.

Какое легкое в мечтах и какое трудное на деле счастье!..

А кошель мотался у него под руками, тыкался в бок своей рябой кожаной мордой, возвращал его к действительности, точно ненасытный кредитор.

Потом пошли всевозможные уловки: вынос под предлогом починки и продажа за бесценок домашней утвари; ежедневное хождение по лавкам в надежде облегчить свое положение; завязывание знакомств и дружбы с людьми с целью взять товар в долг; затем поджидание людей, которые, может быть, купят ему билет на пароход, — все это были напрасные попытки хоть немного наполнить требовательный кошель, который он продолжал носить в руках, не понимая для чего.

## 6

В то утро старшая дочь сунула ему в руки кошель.

— Вчера ты не принес мяса, так сегодня не забудь, принеси еще фруктов и сыру.

И вслед отцу, который спешил убежать, без конца сыпались ее мелкие поручения.

На спуске к пристани кошель мотался в такт его торопливой, подпрыгивающей походке, глухо урча, словно пустое брюхо.

Усеп-ага в отчаянии сжимал в кармане три десятка медяков, боясь потерять их, — с ними он должен

добраться до города, — а как возвращаться вечером?.. И жалел, как он жалел, что живет на Скутари, куда пешком не доберешься; одних добрых намерений и даже мужества было мало, чтобы вернуться домой не с пустыми руками.

На пароходе Усеп-ага сел подальше от знакомых, на корме, там, где нет шикарных кают, поближе к вшивой публике. Удобно примостил возле себя кошель, заботливой рукой поправил его складки. Затем его внимание привлекло буханье колесных плит. Этот однообразный напев захватил его: вращаясь, колеса словно задумывались перед каждым новым оборотом; он прислушивался к этой своеобразной мелодии — бух-бух-бух... бух! — испытывая удовольствие.

В эти минуты ничто, кроме этих таинственных звуков, не трогало его душу. Кто он, зачем он на этом пароходе, куда едет?..

В Стамбуле встретил знакомых купцов, но их хмурые и суровые лица заставили его онеметь. «Ну, наберись смелости, скажи-ка этому человеку, который так важно открывает и закрывает свою железную кассу, что ты обещал своим детям раздобыть к вечеру еды». Нет, этого он не смог сказать.

Побродил по базару, не заговаривая ни с кем; попутно заглядывал в магазины; постоял с четверть часа возле ювелирных лавок, любуясь бриллиантовыми украшениями, — он так и не смог подарить своим девочкам что-либо из этих безделушек, — и спохватился, что дочурки ждут его.

Спросил время. Было поздно; и тут он побежал — уж очень задержался; сейчас ему было не до колеба-

ний, нужен был хлеб, и он должен просить его у первого же знакомого...

Поразительно: он, Усеп-ага, имея так много знакомых, не встретил никого из них.

Вот этот, идущий навстречу, конечно, знал его: когда-то они были конкурентами, но с той поры, как Усеп-ага разорился, тот перестал с ним здороваться. И другой, быстро прошмыгнувший мимо, этот тоже знал его, — когда-то Усеп-ага поручился за него, он на днях отказал ему в меджидие<sup>1</sup>. Только вот этот старик — еще несчастнее его — поздоровался с ним.

У моста Усеп-ага остановился: не мог перейти, не было десяти монеток<sup>2</sup>, и в ту же минуту почувствовал — чего-то недостает. Он пытался вспомнить — и вспомнил: где-то он забыл кошель; повернул, побежал, но для чего?..

## 7

Море омывало, покачивало и колыхало тело лежащего на спине грузного человека, с широко раскрытыми, казалось, удивленными глазами и упрямым, немигающим взглядом, уставленным в небо, где полная луна сверкала огромной, круглой серебряной монетой.

Из воды торчал край черного кошеля, накрепко привязанного к шее человека. Кошель покачивался на волнах, тащил вниз голову, но она тут же всплывала, сиюсь сбросить его тяжесть.

---

<sup>1</sup> Меджидие — турецкая серебряная монета.

<sup>2</sup> За переход моста взималась пошлина.

На блестящей, как зеркало, глади моря это тело, с подвешенным к шее кошелем, было похоже на плывущий вдаль корабль, к корме которого привязана лодка. И в воде они были неразлучны так же, как в жизни.

Связь осталась крепкой.

Этому набитому камнями мешку уже не угрожала опасность остаться пустым; его сытое брюхо разбухло и лоснилось. Его место было уже не под мышкой, где столько лет его носили сложенным, стиснутым и придушенным, нет, этот мешок, с его беспощадным упорством, с доводящей до отчаяния пустотой, был теперь воплощением долга человеческого, и, стало быть, его истинное место... на шее, именно там, где он прочно утвердился теперь.

И, подобно изгнаннику, он спустя тридцать лет обрел наконец свое истинное место, воссел там и кейфует... С каждым всплеском моря кошель нежно терся грубой шкурой о лицо человека и ласкал его.

## АНКА



толкновение в Екара-Маале, квартале с узкими извилистыми улицами, расположенном на возвышенном месте, началось с глухих проклятий и ропота, которыми собравшиеся женщины встретили пришедших производить обыск стражников.

Толпа женщин все разрасталась. Они появлялись изо всех углов и щелей и стекались к старому, обветшалому деревянному дому, буквально запрудив всю улицу. Вскоре все женщины и стражники слились в одну густую, почти неразделимую людскую массу, в которой нежными прожилками виднелись красные канты мундиров.

Ропот этого скопища женщин, подобно глубокому вздоху, вырывавшемуся из уст какого-то великана, поднимался в воздух, в душную атмосферу жаркого летнего дня; и до слуха, сначала как неясный шум, потом уже более отчетливо, донеслось одно-единственное

слово, произносимое на каком-то непонятном языке, слово, которое в этой толпе понимали все. Его повторяли про себя, передавали друг другу, а длинная, узкая, словно огромная труба, улица, подхватив, уносила его вдаль, к самому городу:

«Аинка<sup>1</sup>, аинка!»

Служащие французской табачной компании, не зная, какое сопротивление им может оказать слабый пол, не решались применять силу и пробиться к входу в дом, где, как им сообщили, лежал большой запас контрабандного табака. В предвкушении награды их глаза сверкали лихорадочным блеском, и они снова и снова пытались грудью проложить себе дорогу, стремясь хотя бы на шаг приблизиться к дверям, от которых их отделяло не более десяти шагов.

Но толпа становилась все плотнее; с обеих сторон чувствовалась решимость довести дело до конца. Взаимная вражда, давняя ненависть, существовавшая между этими двумя группами людей, что-то традиционное, фатальное выступило здесь во всей своей наготе.

Воспоминания о прежних обысках и захватах табака всплывали в памяти людей и еще больше разжигали извечную вражду. Снова обнажились рубцы от ран, полученных в прежних боях; запах гноя и крови раздражал и вызывал желание мстить. Все запасы Екара-Маале, все богатство его жителей хранилось в этом ветхом доме. Распродажей припрятанного табака они могли бы просуществовать целый год; теперь же им грозило полуголодное существование.

---

<sup>1</sup> А и н к а — контрабандный табак.

Думая об этом, люди вспоминали предыдущие конфискации, тяжелые штрафы и длительные тюремные заключения.

Из уст в уста передавались советы, приказы поспешить, которые, скользя по толпе, прокрадывались в дом.

— Эй, ты, Акопос, пошевеливайся!

Но в доме и без того торопились. Было слышно, как там ходили, передвигали мебель, перетаскивали тюки с табаком. По крышам соседних домов, по чердакам стремительно перебегали люди.

По узкой улице распространился крепкий запах табака. Стражники компании, отчаявшись пробиться сквозь толпу женщин, боялись упустить добычу. Но сопровождавшие их более дальновидные полицейские, опираясь на предоставленное им законом право, решительно устремились к дому.

А шум усиливался, становясь злым и жалящим, как горячие потоки света, излучаемые палящим диском солнца. Шум, во время которого непрестанно взлетало в воздух, кружилось и возвращалось обратно одно и то же слово: «Аинка, аинка!»

Акопос, старший из двух братьев, был главарем аинкачи<sup>1</sup>. Этот черноглазый черноволосый парень носил потур<sup>2</sup> из прочной шерстяной ткани, способной выдержать удар кинжала. В потуре он обычно прогу-

---

<sup>1</sup> А и н к а ч и — контрабандисты, занимающиеся перепродажей табака.

<sup>2</sup> П о т у р — широкие турецкие шаровары.

ливался по Измидскому рынку медлительной, ленивой походкой, свойственной сильным людям.

Следуя закону отцов и дедов, он, вместо того чтобы скрываться как преступник, вот уже в течение десяти лет открыто сражался, уверенный в своей правоте. Прославленный главарь аинкачи был героем бесчисленных столкновений.

Когда-то этот самый молодец, вызванный в суд в качестве свидетеля, на вопрос о его профессии беспечно ответил:

— Аинкачи.

Сейчас его знают и любят все: и возчики на дорогах, и разбойники в горах. Кинжал, что висит у него на боку, выкован из гибкой дамасской стали, привезенной им из Стамбула. Этот переливающийся всеми цветами радуги кинжал никогда не покидал ножен понапрасну. Деревья также знают его хорошо, так как в минуты гнева и тоски он на коре их часто вырезал букву А. (Единственная привычка, оставшаяся у него от школьных лет.) Любая перевозка контрабандного табака в окрестностях этого города теперь поручается его бдительной и ловкой охране. Он никогда не бросит доверенный его мужеству товар и не убежит. Как и в любом опытном военачальнике, храбрость сочеталась в нем с хитростью, и он всегда добивался успеха.

Теперь он должен жениться; но кто отдаст этому горцу свою дочь? И все же не одна девушка с трепещущим сердцем ждет его возвращения в вечерней мгле.

— Здравствуй, Акопос! Когда приехал? — спрашивают у него.

— Вчера ночью.

Он возвращается всегда ночью, в неопределенные часы, по не ведомым никому, кроме него, тропам, их не знает даже его младший брат Саак. Брат грозного аинкачи, молодой удалец, теперь служит надсмотрщиком табачной компании и получает хорошее жалование. Но Екаре-Маале — квартал, где живут его родственники, — не улыбается Сааку. Девушки не ждут его возвращения. Над ним смеются даже самые некрасивые, невеста его брата Перчуи не здоровается с ним.

Почему же этот парень вдруг порвал со своими, стал их недругом?

И вот теперь к этой узкой улице, к этому дому, его родному дому, стражников привел он. И, застигнутые врасплох, все еще не веря этому, люди шепотом спрашивали друг у друга:

— Скажи, кто привел их сюда? Неужели Саак?

Волнообразная линия, которая рассекла горизонт и зубцами своими впиалась в беспредельную синеву неба, — это цепь гор, тянущихся на север. В лесах, покрывающих склоны гор, царит непроницаемая мгла, отчего зеленая поверхность их в ночное время, при лунном свете, сверкает, как озеро, полное застывшей влаги.

Рядом — постепенно суживающееся Измидское море. Сверху в водную глубину его опускается луна; окунувшись в море, она не теряет своей ясности и яркости, сверкает в волнах, как осколки разбитого зеркала. Осколки эти то сливаются друг с другом, то распадаются, чтобы опять слиться и снова распасться.

По каменистой дороге тянется вереница лошадей. Топот их копыт почти не слышен: подковы обернуты тряпками; целый караван, перевозящий табак из окрестных деревень. Рядом с ним шагает десяток парней с винтовками на плечах и пистолетами за поясом.

Лунный свет падает прямо на караван и освещает группу аинкачи, которым сейчас уже некуда скрыться от опасного света; предчувствуя беду, они шагают осторожно, полные беспокойства и внимательно вслушиваются в лесные шорохи. Потом привыкают к яркому свету, им становится веселее, и они начинают разговаривать:

- Сколько пачек табака мы взяли в Маале?
- Сто двадцать.
- Где Акопос?
- Идет впереди.

Акопос всегда шел впереди, навстречу любой опасности. Держась за рукоятку кинжала, он думал о том, что может встретиться на дороге с братом. Эта мысль омрачала его душу. И он шел понуриив голову, забыв о следовавшем за ним караване, охрана которого была доверена его маленькому кинжалу и большому сердцу.

Он вошел в лес. И луна, подражая ему, в свою очередь, опустилась в лоно леса, на листву деревьев, на длинные, тонкие ветви, тотчас вонзившиеся в ее диск. Казалось, что она бросилась на острые верхушки деревьев, чтобы покончить с собой.

Уже много раз решал он оставить эту жизнь, связанную с постоянной опасностью. Теперь он рисковал

пролить кровь родного брата или оставить свою невесту вдовой еще до их свадьбы.

Вдали спускающийся с гор ручеек, журча, пробежал по пересыхающему руслу; нарушая безмолвие, квакали лягушки.

Он подумал о вчерашних потерях, о конфискованном табаке, который им не удалось спасти; временами мысль его возвращалась к брату, и руки сильнее сжимали кинжал.

Накануне недалеко от церкви, на площади, Саак увидел Перчуи и, прежде чем она успела убежать, подошел к ней.

— Ты на меня сердишься?

— Я?

— Почему ты не ответила на мое приветствие? Ведь приветствие принадлежит богу.

Девушка промолчала и попыталась уйти.

— Постой, когда-то, еще до обручения с моим братом, ты любила меня — помнишь, что ты говорила у родника?

— Я невеста твоего брата, я дочь аинкачи, нечего тебе говорить со мной.

Саак хотел взять ее руку, но девушка отстранилась.

— Неужели я такой уж плохой человек?.. Если бы ты только знала... одно твое слово, и я вонжу этот нож в свое сердце! Моя любовь крепка, как это железо, твоя же... словно ветка на дереве, колышется из стороны в сторону, от младшего брата к старшему брату, от Саака к Аюпосу.

Перчуи позволила взять себя за руку. Голос ее бывшего друга взволновал девушку. Она видела, как по его загорелой щеке скатилась на усы слеза.

— Кто заставил тебя стать надсмотрщиком?

— Я это сделал ради тебя.

— Напрасно, я ведь дочь аинкачи.

Мало-помалу в вечерних сумерках возвращалась их прежняя дружба, а вслед за нею и любовь. Потом Саак захотел уйти, но на этот раз его не отпустила девушка.

— Побудь со мной еще немного.

Саак остался. Они стояли так очень долго, если бы их не испугала мысль, что их могут заметить прохожие, которым, конечно, было бы весьма интересно увидеть дочь аинкачи рядом с надсмотрщиком. И они поспешили расстаться.

Сейчас он шел к горе, унося с собой очаровательный образ любимой девушки. Теперь она невеста брата. И любовь, возрожденная пятиминутным разговором, страшила его.

Издали ему казалось, что городские дома, построенные на склонах, кувырком катятся вниз. Постепенно он углублялся в лес. Деревья будили в нем воспоминания о светлых и счастливых днях юности. Но их величавое спокойствие тяготило его. Сверху, сквозь густую листву, проникали серебряные ростки света, они падали на зелень и обомшелую землю, как бесчисленные стволы прямых светящихся деревьев, и казалось, что это два переплетенных друг с другом леса: один — растущий из земли, похожий на темные курчавые волосы, и другой — спускающийся с неба

бесчисленными лучами, которые, как бриллиантовый гребень, расчесывали первый.

И этот ряд перемежающихся темных и светлых, осязаемых и бесплотных линий, через которые сейчас он шагал, походил на его сумбурную жизнь. Недавнее свидание с Перчуи было последней светлой половиной: за ней царила сплошная тьма; невеста брата, быть может, завтра жена!.. Мрак, окутывавший его душу, сгущался все больше, и он не слышал или не захотел услышать тот голос, что прозвучал издали, из глубины леса:

— Стой!

Он продолжал идти вперед, совершенно безразличный, бросая вызов раздавшемуся из темноты приказу.

И снова резкий, грубый окрик:

— Стой!

Словно стараясь разбудить Саака, по-прежнему равнодушного к угрожавшей ему опасности, лес густым мощным эхом повторил приказ. Потом раздался другой, еще более сильный голос; Саак узнал голос своего брата:

— Огонь!

Десять винтовок выстрелили одновременно; огненные пули со свистом прорешетили тьму. Саак застыл на месте. Опираясь о ствол дерева, он устало прислушивался к полету пуль, они падали вокруг и веселили его. Умереть!.. Разве он когда-нибудь боялся смерти? Эти пули, пущенные рукой брата, обещали ему спасительную смерть. Умереть от его руки — какое блаженство!

— Огонь! — снова приказал голос аинкачи, протяжно повторяясь в глухих темных глубинах леса.

Какое блаженство встретиться с пулей брата... и Перчуи!..

И, сраженный в грудь, Саак упал.

Семье Саака, погибшего в борьбе с аинкачи, компания назначила ежемесячную пенсию. Пенсию эту уже год получает Акопос, так как вскоре после смерти Саака мать их умерла от горя.

Перчуи носит траур и наотрез отказывает всем женихам. Акопосу она уже давно вернула обручальное кольцо и не пожелала объяснить, почему.

1892

## ДЖЕЙРАН

### 1



него высокий рост, стоящие дыбом волосы и налитые кровью глаза; его хищный орлиный нос спускается от бровей прямой и благородной линией, но на полдороге вдруг, словно передумав, останавливается и, извиваясь, образует хобот. И как бы для того, чтобы еще больше усугубить черты, поддерживающие грозную славу своего владельца, борода этого человека вся в проплешинах — следах перенесенной оспы.

Таким я представлял себе преступника, обвиняемого в убийстве двух людей, человека, которого собирался защищать в уголовном суде Измида.

Оставив позади Гайдар-Паши, поезд устремляется вперед. До Бентика меня ничто не интересует — все места давно знакомы. За окном проносятся то воз-

деланные поля, то бледно-розовые сады, потом мы снова мчимся вдоль побережья, и так до самого Измида.

Декабрьская вьюга и холод сопутствуют нам; рядом непрерывно вздымается зеленая грудь моря, точно усеянная бесчисленными нарывами; они лопаются один за другим, истекая белым гноем.

Слева до самого горизонта протянулось плоскогорье, покрытое садами; меняется только их окраска; она темнеет, сгущается, розовый цвет переходит в лиловый — в цвет скорбной фиалки.

Справа виднеются берега залива, сначала как неясные тени, которые, сгущаясь, постепенно превращаются в отчетливо видимые горы с ущельями, долинами и всегда голыми склонами. У их подножий, будто пасущиеся стада, раскинулись селения.

В Измид я еду впервые. Но ни само путешествие, ни открывающиеся предо мной картины не занимают меня. Нет! На протяжении всего пути я вот уже десятый раз перечитываю официальные бумаги, знакомлюсь с подробностями дела. Ни крупницы надежды. Неслыханное преступление и самые неопровержимые доказательства: два выстрела и два убитых наповал человека; принесшие смерть пули в точности соответствуют калибру ружья обвиняемого; кроме того, в деле имеется заявление самого преступника, с невероятной наивностью сознавшегося во всем. И вдобавок к этому — недвусмысленная строгость статьи уголовного кодекса, на которую ссылается обвинительное заключение прокуратуры. Она витает над этой кровавой трагедией, рисуя перед моим мысленным взором виселицу.

И для чего только еду я в Измид?

Одну за другой перебираю в памяти обычные уловки защиты. Отрицать виновность обвиняемого? Бесполезно. Объяснить преступление невменяемостью? Но проведенное дознание опровергает и это объяснение. Оспаривать правильность применения статьи уголовного кодекса? Но убийство не относится к числу тех преступлений, которые вызывают споры и разногласия. Убийство — это убийство. Все ясно. Есть труп, стало быть есть и убийца. Смягчающие вину обстоятельства? Но преступник — полицейский!

Да, я забыл сказать, что убийца — десятник сапанджийской полиции. Боюсь, что, взяв на себя его защиту, я напрасно рискую своей репутацией адвоката.

А поезд мчит меня со скоростью тридцати миль в час, — мчит навстречу моему неминуемому поражению.

Что скажут жители Измида о моей неудаче, рассуждаю я про себя. Посмотрите, слышится мне, вот он, адвокат из Стамбула, который проиграл в Измиде свое единственное дело. Я даже слышу их издевательский смех. Не слушая моих оправданий, жители Измида валяются с ног от хохота.

— Ты знаешь, а ведь этот парень — адвокат из самого Стамбула!

А что я скажу моей няне Хаджи Мариам, которая вынуждала меня и имеет самое высокое мнение о моем искусстве, — что она будет рассказывать своим знакомым, когда, провалив процесс, я вернусь домой.

Значит, я буду вынужден разбить это преданное и до сего времени полное гордости за меня сердце. Я, который, по ее разумению, стоял на высочайшем

пьедестале адвокатского искусства, теперь должен буду сложить к ее ногам обломки этого жалкого глиняного сооружения. Я испытываю неодолимое желание тихо и незаметно вернуться обратно, чтобы избежать позора.

Поезд останавливается. Мы в Измиде. Двери открываются. На платформе меня ждет полицейский. Он берет мой саквояж и уносит его. А я с дрожью в сердце стою и все еще колеблюсь следовать за ним. Но тут меня окликают, и вернуться назад уже невозможно! Я замечаю на перроне сотника, он тоже пришел встречать меня, — видно, ему хочется выгородить своего подчиненного.

Нехотя выхожу из вагона и с поникшей головой следую за ними.

И зачем я только приехал в Измид?

## 2

Тюрьма, куда я направился прямо с вокзала, чтобы повидать моего подзащитного, занимает правую часть административного здания.

О моем приезде все уже знают; армяне и черкесы стоят и внимательно разглядывают меня, парня, который обещает спасение самому крупному преступнику Измида. Они в недоумении покачивают головами и спрашивают друг у друга:

— Адвокат?

У ворот тюрьмы шум нарастает: все заключенные сразу хотят посмотреть на адвоката, приехавшего из самого Стамбула, настаивают, требуют, чтобы я

предстал перед ними. Мне приходится удовлетворить интерес, проявленный к моей особе, и я вхожу. Люди самых разных возрастов, одетые в лохмотья, внимательно, понимающе, с ног до головы, рассматривают меня и почему-то остаются довольны моим видом. Я чем-то располагаю к себе этих людей, и на меня со всех сторон сыплются вопросы. Каждый рассказывает о своих несчастьях и заботах. Целая коллекция разных дел; выставка, где в живых картинах преподается уголовное право. Отвечаю как могу, обнадеживаю. Но своего подзащитного пока не вижу. Повидимому, служители сбивают с него цепи. Поэтому он задерживается. Снова выкрикивают его имя, и глухое тюремное эхо протяжно повторяет:

— Крантюк... Крантюк...

Заметив мое недоумение, люди, стоящие рядом, улыбаются; они объясняют, что это странное имя — одно из тех черкесских имен, которые ежеминутно произносятся на земле Измида.

Наконец появился мой подзащитный. Неужели это Крантюк? Как непохож этот маленький, худой, бледнолицый человек с небольшими, как у женщины, ногами и руками и голубыми нежными глазами англичанки на тот ужасный образ, который я успел нарисовать в своем воображении!

У него широкие плечи, суживающаяся в талии спина, перетянутая в поясе узким кожаным ремнем; полицейского мундира на нем уже нет. Взгляд печален и приятен. Увидев его бескровное лицо туберкулезника, услышав сухой грудной кашель, прерывающий каждое сказанное им слово, Кох, не задумываясь, сделал бы подкожное вливание этому больному. О

совершенных им убийствах он рассказывает со смирением верующего в судьбу человека:

— Такова воля божья!

И снова я смотрю на его руки, восхищаюсь изяществом пальцев, их благородной удлинённостью и не могу поверить, что они повинны сразу в двух смертях.

Теперь, когда в кабинете начальника тюрьмы мы одни, он тихо продолжает свои признания.

— Ньюш был разбойником, — говорит он мне.

— Хорошо, ну а другой?

— Другого я по ошибке; я не хотел его убивать. Судьба!..

— С чего ты взял, что Ньюш разбойник? А кроме того, тебе ведь было поручено арестовать его, а не убивать...

Крантюк не отвечает на мое замечание и, немного помолчав, спрашивает:

— Что со мной сделают?

— Не знаю.

— Повесят?

— Нет, нет, что ты! Не думаю...

— Приговорят к каторге?..

— Возможно.

— А что будет с Джейран?

— Кто такая Джейран?

— Жена Ньюша.

— Что тебе до его жены?

Крантюк удивленно смотрит на меня. Он не в состоянии уразуметь неуместную строгость моего замечания и, по-видимому, думает, что вся важность его вопроса до меня просто не дошла. В двухчасовой

беседе мы не раз возвращаемся к этой теме. Наше взаимное расположение возрастает с каждой минутой.

Несмотря на темноту в комнате, я замечаю, как временами оживает бледное лицо этого больного, издерганного человека. Я слушаю историю его несчастной жизни. Святая любовь среди суровых гор, сильная и страстная. Ее не сравнить с неизменными мещанскими желаниями горожан. Она кажется громадной горой, которая тяжестью своего презрения давит на плоское однообразие города.

### в

Крантюк, как и Нюш, был дагестанцем. Они выросли в одном ауле и в детстве целыми днями бегали вместе по горам. Но, став взрослыми, полюбили одну девушку и стали смертельными врагами. Потом началось переселение в Турцию, изгнание, полное бесчисленных бедствий, которое, подобно разлившейся реке, в водовороте своих вод несущей выкорчеванные с корнем деревья, уносило обломки целого народа.

Крантюка течением принесло сюда, в окрестности Измида, на османскую землю, принявшую изгнанные племена.

Но воспоминания о родном очаге, привычки дикой горской жизни не могли быть забыты сразу.

Многие переселенцы приняли опеку правительства. Но нашлись и такие, которые, как дикие животные, сохранили кочевой образ жизни и принялись

совершать набеги, наполняя окрестности стенами своих жертв. Нюш был главарем одной из таких шаек. Его имя наводило ужас, тяжелой тучей висело над головами жителей уезда Сапанчи.

Крантюк же, наоборот, определился в полицию и благодаря своему усердию и самоотверженности скоро выдвинулся в десятники. На его долю обычно выпадали самые опасные операции — арест и передача разбойников судебным властям.

Между этими двумя людьми — десятником и разбойником — шла скрытая борьба. Когда-то они были дружны, как братья, а теперь смертельная ненависть толкала их на борьбу друг с другом. Трещина, некогда разделившая друзей, теперь, словно бездонная пропасть, разверзлась у их ног. И все из-за женщины. Пропасть эту за долгие годы вырыла зависть и безнадёжная любовь, и заполнить ее могла лишь смерть одного из них. Создалось безвыходное положение, заключавшее в себе нечто фатальное и неизбежное, из железного круга которого нельзя было выйти целым и невредимым.

Обе стороны, состязаясь в храбрости и хитрости целые ночи напролет, таились в густом кустарнике и с оружием в руках подстерегали друг друга. Не скрывая взаимной вражды и жажды мести, они грозились убить один другого при первой же встрече. И все это продолжалось до тех пор, пока свинцовая пуля не оборвала жизнь одного из них.

Отчаянная борьба не прекращалась, усугубляя, если это было еще возможно, давнюю вражду. Она затянулась до бесконечности, все больше и больше

терзая и без того измотанные нервы противников, которые в обстановке обоюдного преследования жили как бы в постоянной осаде, под вечной угрозой смерти.

#### 4

Уголовный суд Измида...

Пусть его называют судом, коль это слово хорошо звучит. На самом же деле это просто маленькая комната, какие бывают в любом доме. В ней на стульях рассаживаются члены суда, а напротив них, в тесноте, располагаются обвинитель и обвиняемый, свидетели и публика.

Во время судопроизводства произносятся незнакомые имена, разговор ведется на различных языках и диалектах Дагестана, с которых затем делаются переводы, создавая невероятную путаницу, чем я и стараюсь воспользоваться.

В ходе судебного следствия коротко и бесстрастно, пользуясь обычными судебными терминами, уточняются обстоятельства дела.

О том, что Нюш в эту ночь будет находиться в своей деревне, полиция Сапанчи знала заранее.

К утру, достигнув деревни, Крантюк вместе с несколькими конными полицейскими окружил лачугу, приютившую разбойника. Гром ружейных выстрелов разбудил переселенцев. По ошибке был убит какой-то другой человек, а что касается самого разбойника, так тот, воспользовавшись поднявшимся переполохом, выскочил из окна и убежал. Но Крантюку удалось нагнать его в лесу и там пристрелить.

Чтение обвинительного заключения и голоса черкесов наполняют комнату каким-то запахом, напоминающим о смерти, и в моем воображении встает лес, который на сей раз уже не мог предоставить убежище своему спасающемуся бегством сыну. Поединок двух смертельных врагов. Поединок после долгого и упорного ожидания. Схватка в темноте. Последний аккорд злоключений, начало которым было положено еще на Кавказе, прозвучал здесь, в Измиде. Прош- лое, растянувшееся на десятки лет, прервалось в одну секунду, перестало существовать, растворилось и по- гасло в одной капле крови. Прimitивный конец со- стязания, проходившего в эпоху цивилизации так же, как и много веков назад. Было двое — остался один.

Удивительный поворот мыслей; я уверенно, с чистой совестью приступаю к трудному делу защиты; говорю спокойно и требую освобождения обвиняемого. Убийство разбойника, говорю я, не такая уж тяжелая утрата для общества и, наконец, несчастный десятник, встретив отчаянное сопротивление, безусловно вынужден был применить оружие. Если бы он не убил, то был бы убит сам. Заметив доброжелательное внимание суда, я, ободренный, рассказываю о бесславной и бедной радостями жизни полицейского. Никому не известный солдат, не видевший ни поля сражения, ни военных почестей, он ежеминутно подвергался смер- тельной опасности; для него не существовало ни сна, ни отдыха, и даже его собственная жизнь не принадлежала ему. И вдобавок ко всем тяготам своей неблаго- годарной службы он, закованный по рукам и ногам в кандалы, еще должен оправдываться здесь в том, что сделал, повинуюсь лишь долгу? Чувствую, что

обвинение теряет почву. Аргументы прокурора один за другим улетучиваются, как дым. Перехожу к обвинению в неумышленном убийстве второго человека и заявляю, что восьмимесячное предварительное заключение вполне искупило вину десятника.

Мы вышли из помещения суда. Внутри совещаются, спорят, высказывают мнения — за и против. Голова Крантюка покачивается на шее то вправо, то влево — не слетит ли? Он смотрит на меня жалобно, как обреченная на заклание овца. Во взгляде этом застыл вопрос — ответить на него я не могу. Переживания десятника разделяю и я. Уединившись в сторонке, я с трепетом в сердце жду конца.

Проходит полчаса; пока еще ничего неизвестно. А там, в помещении суда, голоса повышаются и наполняют меня страхом. Умоляю! Не делайте этого! Но с кем это я говорю?!

Проходит час — продолжают совещаться. Вдруг голоса стихают; значит, пришли к соглашению; но на чем же они порешили?

Раздается звон колокольчика, пронзительный, громкий, ужасный. У меня останавливается дыхание. На лице десятника ни кровинки. Все врываются в комнату; ждать они больше не могут.

Наконец вхожу и я. Еще не заняв своего места в кресле, председатель, беспокойно оглядываясь по сторонам, проверяет: здесь ли обвиняемый. Плохой признак.

Оглашают приговор — коротенькая запись: всего четыре строчки, несущие с собой или жизнь, или смерть. Из первых слов я не понял ничего. Вытягиваю голову вперед, чтобы быстрее уловить смысл ска-

занного, — глупая привычка. Ну же, скорее, на чем вы порешили?!

Убийство при самообороне! Спасен!

С радостными возгласами мы выходим на улицу. Крантюк молчит, держит меня за руку и плачет. Придя к себе и сняв со стены черкесский кинжал, он дарит его мне.

Что мне делать с этим кинжалом, с этим неразлучным другом многострадальной жизни Крантюка?

Здесь, в моей комнате, среди мирных вещей суждено ему стать украшением, игрушкой. Настоящая жизнь кинжала окончена.

Может быть, когда-нибудь его возьмут в руки женщины и, исполненные слабостей и мирских страстей, они не постигнут извечного родства этого куска железа с любовью, не поймут его языка и не увидят в бесчувственном оружии ревностного стража святых и неукротимых вспышек сердца?

## ШУТКА



оропливой походкой проходил он по улице, крепко сжимая в руке свернутые в трубку листы нотной бумаги с несложными фортепьянными пьесками, — он был учителем музыки и спешил на очередной урок.

Почти не замечая окружающего, погруженный в свои мысли, он шел, что-то напевая себе под нос, и блаженная улыбка, не сходявшая с его лица, говорила о том, что на душе у него светло и радостно. Да, Сеферян был действительно счастливым человеком, одним из тех немногих людей, которых старательно разыскивают, но никогда не находят скептики.

Счастливым? А почему бы и нет? Сын бедного сапожника, он сам, без посторонней помощи, выбился в люди. Позади остались страдания и лишения — неизбежные спутники содержащегося на казенный счет ученика. Благородного металла его души еще не тронула ржавчина пошлой будничной жизни.

В его глазах... но был ли их взор когда-нибудь устремлен на окружающий реальный мир? Отрывался ли он хоть на миг от заоблачных высот, к которым был прикован? Не являлась ли иллюзией вся жизнь Сеферяна, не заключалась ли она для него лишь в одних радостях любви, благородных порывах, в дивной гармонии величественных мелодий?

Да, так, именно так воспринимал он жизнь и не жалел об этом! Кто мог сказать, почему, получив скромное образование в национальной школе, он вдруг отдался музыке? Кто знал, какие невидимые нити связали его душу с ее беспредельно чарующими звуками.

Перенесенные в юные годы страдания не ожесточили душу этого скромного человека, преображенную волшебною силой искусства, но словно украсили его кроткое лицо каким-то ореолом почти святого вдохновения. Так иногда бахрома тонких сухих ветвей, обрамляющая куст, украшает его больше, чем самые яркие и пестрые цветы.

Музыка была той гурией, которая первая увлекла и пленила его своим удивительным свойством перевоплощаться в любой желанный образ. Она была для него манной небесной, способной принимать вкус самых изысканных лакомств. Когда он играл, в его сознании возникали образы удивительных, неземных женщин, даривших ему нежные чарующие улыбки, и он тут же влюблялся в них, искренне считая себя их женихом и свято храня в памяти каждое их слово, каждое движение. Так своды подземного грота в тысяче причудливых отголосков передают и повторяют эхо чьих-нибудь шагов.

Знакомые жалели его и смеялись над ним. Да и можно ли было найти лучшую мишень для насмешек, чем этот вечно счастливый чудак? Не был ли он просто гордым нищим, который из самолюбия старается придать своему лицу веселое выражение?

Постепенно вокруг него образовался целый кружок насмешников, словно поставивших себе целью зло разыгрывать беднягу. Ведь он был не из тех, над которыми подшучивать опасно. Нет, этот доверчивый безропотный человек, казалось, для того и появился на свет, чтобы стать для людей предметом их забав и развлечений.

Ему и на ум не приходило, что над ним могут потешаться. Бесхитростный, даже немного ограниченный, он готов был поверить во все самое фантастическое и невероятное. И надо же было тому случиться, что как-то раз одна из его учениц, Заруи, с похвалой отозвалась о благородстве характера своего учителя.

Эти пустые, малозначащие слова были восприняты им как прямое объяснение в любви и потрясли его. Он ловил каждый взгляд девушки и готов был признать ее самой прелестной и обворожительной из всех женщин на свете. Первый раз в жизни он забыл о музыке, стал делать ошибки, путал диезы с бемолями. И люди и предметы словно в каком-то безумном вихре закружились вокруг него, и во всем этом хаосе незыблемым оставался лишь светлый образ Заруи.

Из Перы Сеферян вернулся домой, потрясенный до глубины души. Окружающие не могли не заметить его волнения, догадались о причине его и от души

посмеялись над беднягой, — и как это он мог влюбиться лишь из-за одного сказанного ему слова?

Любовь делает людей поэтами. Всю ночь он не спал и, сидя один в своей унылой холостяцкой квартире, сочинял стихи. Стихи Сеферяна переходили из рук в руки и многим даже нравились. Этот пианист оказался большим оригиналом. Молва о его любви передавалась из уст в уста, из селения в селение, повсюду вызывая искреннее веселье.

— Вы слышали? Пианист Сеферян влюбился в Заруи.

— В самом деле? — удивлялись люди, не в силах сдержать смех. — Видно, у бедного парня не все дома.

Нашлись охотники продолжить игру, придать комедии еще более острый характер. В шутке принял участие брат Заруи, распустивший слух, что берет молодого учителя под свою защиту и что вся переписка влюбленных будет проходить через его руки.

И вот от Сеферяна посыпались письма, полные бесконечных признаний и уверений все в той же глупейшей любви. Они стали ежедневной пищей для шуток родственников и соседей Заруи и доставляли им истинное удовольствие. Кое-кто из друзей Сеферяна вмешался в эту историю, желая прекратить жестокую шутку. Они предостерегали учителя, пытались расшеять его нелепые мечты.

— Не давай себя обмануть, Сеферян!

— Вот еще придумали! Никто не обманывает меня! — успокаивал он.

Он искренне верил, что Заруи любит его. Напрасно давали ему советы, убеждали. Он не желал никого слушать. Завидуют моей любви, думал он. Кто

сказал, что дочь богача не может полюбить бедняка? Если они хотят, он может прочитать им все письма, полученные от Заруи. Почерк? Да, конечно, это почерк брата. Ведь не может же она собственноручно писать ему любовные письма. Нет, она, конечно, просто продиктовала их своему брату. Не верите? Ну что ж, какое ему до этого дело! Сам он верит, и этого вполне достаточно.

И прохожие останавливались посмотреть на погруженного в свои думы, безразличного ко всему Сефериана, который торопливой походкой проходил по улицам и всем своим видом напоминал человека, стремящегося навстречу счастью.

В один прекрасный день брату Заруи наскучила эта игра. Учитель, потеряв всякую меру, повсюду кричал о своей любви и открыто заявил, что имеет право жениться на Заруи. Сплетники, а их всегда и во всех случаях хватает, продолжали размазывать эту глупую историю, в которой была замешана девушка. Дело принимало серьезный оборот. Тогда Сефериану в самой грубой и оскорбительной форме дали понять, что такая девушка, как Заруи, не для него, и, прежде чем делать свои нелепые предложения, ему следовало бы как следует подумать, кто он и кто она.

Он заупрямился, стал еще более назойливым, чем прежде, и добился того, что его просто выгнали вон. Нет, положительно этот парень сошел с ума и сам не знает, что делает. Он, подумать только, хочет

жениться на одной из самых богатых невест в городе!

С тех пор он больше ни разу не имел возможности видеть свою Заруи. К тому же на его бедную голову посыпались упреки и оскорбления. Все вокруг старались растолковать ему, что эта история была лишь шуткой, которую затеял брат его возлюбленной, чтобы посмеяться над ним, а Заруи даже не знает о существовании каких-то писем.

К нему снова пришли друзья, убеждали выбросить из сердца нелепую любовь, которая угрожала превратиться в неизлечимую болезнь и сделать его несчастным. Но и на этот раз попытки их были бесплодны. Простодушное и честное сердце учителя не могло допустить подобного обмана, не могло поверить, что над ним так жестоко и глупо надругались. Все это казалось ему невыносимым и несовместимым с добрым сердцем Заруи. Да к тому же ведь речь шла о таком святом чувстве, как любовь.

Прошли годы, и случилось так, что Заруи не вышла замуж. Этого было достаточно, чтобы любовь в душе несчастного учителя запылала еще сильнее. Теперь уже не только знакомые, но и посторонние люди, каждый по-своему, старались растолковать ему ошибку, превратившуюся в величайшее несчастье всей его жизни, но напрасно. Бывает любовь, которая, как ночное видение, готова рассеяться от первого же луча солнца, но любовь Сеферяна была иной. Сердце его навсегда принадлежало Заруи, и только ей.

Жестокая шутка, затеянная ради смеха, теперь, как вечная и неотступная тень, везде и всюду преследовала его.

Вот он бродит по ночной улице, громко шаркая ногами. Его шаги напоминают движения скрипичного смычка, вызывающего к жизни непрерывную и жалобную мелодию. Иногда он останавливается перед одним из окон великолепного господского дома. Прислушивается. Сквозь занавеси виден свет лампы, почти неразличимый, мерцающий свет — он напоминает мрачные мысли человека, задумавшего совершить преступление.

В этой комнате лежит больная Заруи. Ее изнуренное и исхудавшее лицо все еще сохраняет миловидность.

Подтачивающая ее болезнь не имеет названия. Скорее всего она вызвана продолжительными душевными страданиями. Заруи убивают бесконечные мысли о том, как ее преследовал учитель, мысли о всей этой глупой и смешной любовной истории, героиней которой она была в течение многих лет, так и не сумев от нее избавиться. Учитель следовал за ней по пятам, как верный верблюд Тартарена, который в своей бескорыстной и смешной преданности хозяину сопровождал его от Африки до Тараскона.

Все ее старания убедить этого человека, что она не любит и никогда не любила его, оказались напрасными. И мучительный стыд, что она оказалась объектом любви полоумного, вызвал у нее нервное расстройство, которое в течение ряда лет мало-помалу разрушало ее здоровье. Так капли воды медленно, но верно долбят камень. Она чувствовала себя подавленной, боялась показаться на глаза людям, и постепенно даже сама жизнь стала внушать ей почти отвращение. Силы Заруи таяли, а на улице под окнами

ее дома все бродил весь во власти любовных грез ее невольный убийца.

Он был доволен и счастлив — ведь подкрадывавшаяся к девушке смерть была еще одним доказательством, что Заруи любит его, и таким убедительным доказательством. В то время как весь мир, словно сговорившись, хочет доказать, что Заруи — бездушная обманщица, она умирает от своей великой любви.

И его постаревшее, изможденное лицо проясняется от этой мысли. Вера в любовь Заруи превращает его горе в блаженство. Он не может войти в ее дом и продолжает шагать взад и вперед под окнами, словно во сне, не отдавая себе отчета, зачем он это делает.

Когда Заруи умерла, все думали, теперь-то учитель впадет в уныние и превратится в самого несчастного человека, но он остался все таким же глупо-счастливым. У него не было ни уроков, ни денег, ни доброго имени. Друзья постепенно покинули его. Одежда его изнасилась, а купить новую было не на что. Неоплаченный долг за маленькую комнатку, в которой он жил, все возрастал, и хозяин угрожал в счет платы отобрать пианино, а самого его выгнать на улицу. Отобрать пианино? Какая ерунда! В это он не поверил и даже ни капельки не испугался.

И снова продолжал бесцельно бродить по улицам, по-прежнему сохраняя на своем лице выражение блаженства, как человек, восторженно смотрящий на картину, доступную лишь его взгляду.

Его любимая умерла от горечи разлуки с ним, и от этого он любил ее еще больше. Своей смертью она доказала, что никто его не разыгрывал, что он был

прав до конца, веря ей. Проходили годы, Сеферян состарился. Спокойно и терпеливо ожидал он встречи с Заруи в ином, лучшем мире. Всемогущая смерть, попытавшаяся было похитить у него любимую, оказалась бессильной. Заруи всегда была с ним. Ее образ стоял перед его глазами. Она обращала на бедного учителя взгляд, нежный, печальный, который он запомнил с того памятного дня. Его не опишешь, о нем не расскажешь, его не забудешь.

1892

## ЗАБУХО



еловек, лица которого никто из нас не видел, — дьявольское отродье, пребывающее во тьме; жил ли он на самом деле, или это был только миф, что, переходя из уст в уста, приобретает под конец реальную форму и становится подлинным существом?

На селе у нас шли толки о воре, которого звали Забухо; но он не был из тех никчемных воришек, что скоро попадают с поличным, становятся всеобщим посмешищем и сгнивают в тюрьме; нельзя было считать его и разбойником, который не постесняется ради удачи пролить кровь.

Доблесть его заключалась в ловкости: неосязаемый, как воздух, невидимый, как дух, — и нет его нигде, и он присутствует повсюду.

Тщательно запертая дверь, высокая стена не были для него преградой — в замочные скважины, в стенные щели проникал он, как дым, как воздух.

Ему как будто известно все, он слышит каждое слово, он знает, о чем говорится за семью замками;

с непостижимой ловкостью вырывается он из капканов, расставленных ему, повергая в недоумение простодушных преследователей.

Лица его по-настоящему никто никогда не видел, но рассказывали (кто и кому — затрудняюсь сказать), что он молод, приземист и тщедушен; обучался кузнечному ремеслу, а слесарное дело усвоил даже более чем достаточно, особенно что касалось замков.

Теперь жил он как артист-любитель, занимаясь кражами скорее из склонности к азарту, чем из-за нужды. Забухо готов был довольствоваться одним лишь признанием его мастерства в ограблении самых недоступных домов, он охотно вернул бы награбленное, если б не боялся быть пойманным.

Постепенно крестьяне как бы подружились с Забухо. Все мы привыкли к нему, конечно против воли; это загадочное существо с его скитальческой жизнью таило в себе что-то трогательное, и, кажется, еще немного — и мы полюбили бы его.

Забухо был обручен. Может быть, вы удивлены?

Обручение его, разумеется, совершилось не в большом патриаршем зале, и, уж конечно, не наместник патриарха благословлял его, а газеты не оповещали об этом.

Проще говоря, влюбленная пара где-то под кустиком обещала вечно любить друг друга, свидетелями ее были только звезды.

Все мы хорошо знали Василику, сухопарую русоволосую девушку. Ярко нарумяненная, она гуляла по субботним вечерам у нас в горах.

Никто не смел косо глянуть на нее, никто не решался ухаживать за нею — как будто была она нареченной царя!

Сопровождаемая страхом, которым окутал ее отсутствовавший жених, смело разгуливала Василика повсюду, и этот оберегавший ее страх был ей как нельзя более на руку: такая недоступность делала ее более привлекательной, слава жениха переходила на невесту. Девушка, соединившая жизнь с таким молодцом, как Забухо, не могла считаться заурядной; невеста человека, живущего вне мира, и сама должна быть существом нездешним; вот почему ее созерцали с чувством почтительного восхищения всякий раз, когда эта прачкина дочь с замашками горделивой и заносчивой принцессы появлялась в наших местах на субботних прогулках.

Казалось, Василика была довольна своей судьбой — был некто, обожавший ее из темноты, никогда не обнаруживаясь и не показываясь с ней на людях.

И темнота тут была неподдельная: жизнь для Василики начиналась ночью и ночью же кончалась; ведь жених, которого она с трепетом ждала, только по ночам и мог воплощаться таинственно и неожиданно для всех.

Обыкновенно говорится: столько-то дней мы жили! Она же могла сказать: столько-то ночей мы прожили! Недолго Василику радовал такой ход событий. Хоть возлюбленный и обкрадывал мир, чтобы держать ее в холе, но в один прекрасный день все это вдруг показалось ей недостаточным.

Ее скрытное, тайное счастье проигрывало в чем-то, продолжая оставаться никем не замеченным.

Представьте себе драгоценный камень, обреченный вечно оставаться в шкатулке, — украшение, которым не можете вы похвастаться перед толпой.

Все ее радости, все ее богатство были таким украшением. От природы склонная к показному блеску, Василика не могла довольствоваться внутренней жизнью, которая не становилась достоянием внешнего мира. Есть люди, напоминающие прирожденных актеров, — их не удовлетворяет чувство, заключенное в их душе, им нужна публика, и жизнь теряет для них всю прелесть, когда ряды зрителей редуют.

Такова была Василика. Положение, в которое она попала, в сущности, было отвержением: на улице парни боялись ее очарования. Она же, напротив, пыталась завлекать их — выступала и томно и расслабленно и щеголяла игрой гибкого стана: но все избегали ее.

Но вот однажды один из парней предложил ей выйти за него замуж. С этой поры любовь вора стала для Василики невыносимым ярмом. Уже невмочь ей становилось поджидать его всю ночь напролет, приходиться на свидания в сады или в горы. Встречаясь с Забухо, она горько жаловалась на свою судьбу, попрекала его, плакала. Возлюбленный терялся в догадках: откуда эти слезы, ведь продолжает же он любить ее по-прежнему? Но бродячая жизнь вытравила из сознания Забухо тонкость ощущений и даже логику.

— Скоро ли будет конец всему этому? — восклицала девушка.

— Конец? Чему?

Забухо никогда не думал ни о каком конце; напротив, ему хотелось, чтобы такая жизнь длилась бесконечно.

Тогда, не зная, как добиться добровольного разрыва этого брака, оказавшегося более прочным, чем церковный, Василика решила на коварный шаг: ночью она вызвала полицейских и выдала им Забухо.

За каменными стенами, за крепкими железными заборами тянулись для пойманного вора долгие, безнадежные дни. Мечты о неожиданном спасении давно покинули обитателей тюрьмы: теперь, в ожидании конца назначенных сроков, высиживали они, бледные, съезженные, словно исполинские грибы, разросшиеся в тени тюремных стен.

Тут, в этом каменном чреве, прозябали люди всех состояний и всех возрастов. Сверху из узкой щели пробивается свет, скупой и тусклый свет, как те лица, на которые он ложится изо дня в день.

Среди них — Забухо. Появлению вора в тюрьме предшествовала его громкая слава; говорили: это не бог весть какой злодей, но уж до чего изворотливый ловкач. Поэтому здесь он под неусыпным надзором: на ногах кандалы, кругом несокрушимые стены.

Семь лет суждено ему прожить здесь; молодым сюда он вошел и выйдет пожилым. Мысли его неизменно заняты возлюбленной — единственным существом, в преданности которого Забухо еще ни разу не усомнился. Где Василика? Что с ней?

И, наперекор всем тюремным строгостям, решил он на бегство.

Однажды Забухо отважился перелезть через стену высотой в тридцать локтей, но был схвачен; в

другой раз он был пойман в дымоходной трубе, где провел две ночи.

Еще строже стали смотреть за ним; наказания сыпались на Забухо, но ничто его не устрашало — ему нужно вырваться отсюда, чтобы увидеть свою Василику!

В конце концов как-то ночью побег удался: взобравшись по кухонному дымоходу на крышу, Забухо на этот раз незаметно перескочил через тюремную ограду.

За последние три года это был шестой побег, завершившийся удачей. Забухо имел неосторожность вновь вернуться к нам на село. У этого изобретательного парня не было и тени сомнения в чистоте любви его возлюбленной. Арест свой он считал несчастной случайностью. По-прежнему Забухо был уверен, что есть женщина, готовая встретить его всегда.

Забухо снова увидит любимое лицо. Вот уж будто наяву перед ним пышная россыпь ее волос, и радостная дрожь пронизывает его.

Осторожно приближался Забухо к дому Василики. Припав к окну, он услышал голоса. Кто там? Прислушивается и не верит себе; прокрадывается незаметно в дом и битый час выстаивает в углу, не в силах собраться с мыслями; потом, придя в себя, он медленно сжимает рукоять небольшого, заложенного за пояс кинжала. Впервые в жизни Забухо решается на убийство; он, столь ловко умевший избегать таких решений, не в силах отказаться от мести. Кто этот безумец, который осмелился заменить его? И ради кого Василика забыла его?

Смерив соперника взглядом, Забухо убеждается, что тот значительно ниже него.

Но, уступая переполнившему сердце презрению, рука оставляет полуобнаженный кинжал. Нет, они не стоят его гнева! И тихо ускользает Забухо из комнаты.

Всю ночь бродил Забухо по улицам. Куда ему теперь деваться? Ни дома, ни друзей! С таким трудом добытая свобода не пошла впрок и только легла на плечи тяжким бременем.

Чуть свет уныло подошел Забухо к тюрьме. Утром патруль забрал его.

1893

## ХОХОТ



е буду скрывать — когда я вошел в эту комнату, сердце мое забилося сильнее.

Десять долгих лет пролегло между мною и этим домом, но давнее прошлое предстало предо мною, как вчерашний день. Всего два месяца провел я здесь когда-то: самая тревожная, самая несчастная пора моей юности, но и самая волнующая, — перед тем как замкнуться мне в тревожном моем состоянии невозмутимого покоя.

И вот, переступив знакомый порог, я вдруг почувствовал: я уже не полненький, кругленький человек, на лбу которого жизненная борьба оставила свои глубокие следы, точно борозды на пашне утомленного пахаря, я прежний юноша — стройный, надменный и непреклонный. Произошло перевоплощение Фауста, но без помощи беса, одною мощною силой воспоминания.

Вошел неслышными шагами: бездна, вырытая временем, исчезла.

Все вокруг меня, как будто сговорившись, напоминало мне о былом. Та же комната, что и десять лет назад, и все в ней по-прежнему: кресло, обитое темно-красным бархатом, в углу раскрытый рояль, на нем разбросаны ноты; по стенам те же картины и фотографии, но самая прелестная — на рояле: портрет хорошо известной мне молодой женщины.

Оригинал передо мною.

Покидая свое неизменное кресло у окна, неторопливо поднимается мне навстречу...

Она!

В наружности ее, казалось бы, нет никаких перемен: черные глаза таят все тот же грустный и глубокий взгляд; руки все так же похожи на детские, а пальцы кажутся изящней.

Но она слегка пополнела: отпечаток времени; в черных, как осколки угля, волосах сверкают белые нити, словно молнии в темноте непроглядной ночи.

Лицо утратило розовый оттенок: цвет его напоминал тусклую слоновую кость или восковую свечу.

Строгость этого лица я прекрасно помню: безмятежная строгость изваяния, которое ничто на свете не может растрогать.

Улыбок и смеха не знала эта женщина; ее равнодушное лицо не озарялось ни разу лучами радости.

И воскресают первые мои впечатления, первые грезы. Кому достанется эта волнующая красота? Для кого это суровое не улыбающееся лицо, не изменившееся за десять лет?..

И мне хочется крикнуть ей: «Сбрось эту равнодушную, холодную маску, молю тебя, хоть раз улыбнись мне, улыбнись, прелестная!»

Не успели мы сказать двух слов, как вошла шестнадцатилетняя девушка — фея, вся сотканная из лучей и роз; с приветливой улыбкой поздоровалась она со мной.

Уж не помню, по какому поводу (должно быть, мне удалось сказать что-нибудь остроумное и веселое), обычно неподвижное и пасмурное лицо дамы вздрогнуло, засияло и — удивительное дело! — по нему скользнула легкая улыбка; все ярче расцветая, играла эта улыбка подобно заре, что постепенно превращается в ясное, непобедимое утро.

Как теперь была прекрасна эта женщина! Трудно было поверить, что улыбка могла озарить ее так пленительно. Она, эта улыбка, все разбегаясь и дрожа, незаметно перешла в смех.

Боже мой, впервые подлинная женщина явилась мне в своей неизъяснимой красоте! Она смеялась — значит, была счастлива. Я же был счастлив ею.

Она продолжала смеяться все громче и громче, от хохота ее сотрясался потолок, а я, когда-то домогавшийся единственной ее улыбки, смущенно, в удивлении глядел на нее: откуда этот бурный смех по такому ничтожному поводу?

Вообразите скаредного, жадного скрягу, который вдруг превратился в безумного мота и принялся швырять золотом направо и налево.

Несмотря на мое изумление, она так заливалась хохотом, что уже не в силах была сидеть прямо и опрокинулась на спинку кресла.

— Ха-ха-ха!..

Тогда ее дочь, с лицом, отуманенным грустью, застенчиво подошла ко мне.

— Простите, — сказала она, — моя бедная мама после болезни хохочет иногда целыми часами; это нервная болезнь...

И в самом деле, хохот, хохот, звонкий, оглушительный, искажая прекрасное лицо, наполнял комнату необыкновенной и горькой радостью. Дочь, опустившись на колени, сжимала руки больной.

А я думал о том, как десять лет назад от этого прелестного существа ждал я не громовых раскатов бессмысленного хохота, а той мимолетной, почти незаметной улыбки, что таит в себе все обещания и все отречения, все сомнения и все утверждения, все возможное и все невозможное...

Но больше всего я думал о странной судьбе этой женщины: отказав жестоко в единственной улыбке, тщетно она разбрасывает теперь неисчислимы сокровища безумного смеха, когда уже нет никого, кто бы захотел нагнуться и подобрать их...

1893

## ТАЛИЛА



вал я его доктором...

Высокий худой человек, он жил в одном доме со мной и снимал комнату как раз напротив моей.

Ему было около пятидесяти, но из-за болезни сердца, смертельный исход которой был предрешен, он находился на пенсии.

Лицо этого прекрасно знавшего о близости своей смерти человека всегда сохраняло бесстрастность мраморной статуи.

В любой день после полудня его можно было видеть в Люксанпурском кафе. Он обычно сидел там, у правой стены, на скамейке с бархатной обивкой, за рюмкой коньяка, углубленный в чтение свежих номеров «Деба́» или «Тана»<sup>1</sup>. Доктор никогда ни с кем не разговаривал и даже не проявлял никакого желания

---

<sup>1</sup> «Деба́» и «Тан» — газеты, издававшиеся в Стамбуле на французском языке.

взглянуть на улицу, на прохожих, на полный жизни, веселый и радостный мир, как человек, чей взор и внимание устремлены к величественному царству возвышенных наслаждений. Несомненно, у этого скрытого, замкнувшегося в себе человека был особый внутренний мир, где его окружали образы более верных и честных людей, чем те, с которыми общаемся мы. Разве не перестает быть одиночеством то одиночество, полное грез, о которых Сюлли Прюдом говорил: «Хорошо, если бы они всегда жили в душе?»

Казалось, человеку этому просто надоело жить так, как живут ему подобные, и он избегал новых встреч и знакомств.

Со своим прямушием и постоянным любопытством мы похожи на огромную гостиную, куда каждый может войти, обменяться рукопожатиями, посидеть, а через некоторое время уйти. В эту гостиную ежеминутно являются новые гости; краски, очертания и запахи в ней смешиваются и теряются. Его же скорее можно было сравнить с маленькой кельей, куда вхожи только близкие люди; они занимают раз и навсегда отведенные им места и в разговорах повторяют одни и те же слова. Эту маленькую келью заполняют воспоминания. Они украшают ее, как драгоценные камни, и всем им отведены строго определенные места, которые они не покидают никогда.

В течение трех месяцев, сталкиваясь каждый день на лестнице или встречаясь в коридоре, разделявшем наши комнаты, мы раскланивались — и только.

Однажды, когда у меня был сильный кашель, я

попросил его зайти ко мне; он очень неохотно согласился, а когда пришел, пульса не проверил, на язык не взглянул, лекарств никаких не прописал, но библиотеку мою осмотрел.

— Все это ерунда, от лекарств никакой пользы не будет, — сказал он мне, — болезнь должна завершить свой круг.

Странный врач!

На следующий день он снова пришел. В руках его был томик Виктора Гюго; не спросив меня о состоянии здоровья, он сел у изголовья кровати и углубился в чтение. В другой раз он уже явился с «Историей Жиранды» Ламартина.

Вскоре я выздоровел, и с тех пор мы стали друзьями.

Он был одинок, совершенно одинок, и на всем белом свете не имел ни родственников, ни друзей, да никогда и не нуждался в них. Окончив медицинское училище, он целых двадцать лет скитался по свету, побывал везде и всюду: от заснеженных горных вершин до выжженных солнцем безлюдных пустынь.

Стремясь к тихой и спокойной жизни, он понапрасну не терзал свою душу и сердце неосуществимыми честолюбивыми мечтами и, словно человек без роду и племени, безропотно отправлялся туда, куда его гнали. Именно его обычно направляли на борьбу с эпидемиями чумы и холеры, свирепствовавшими в Месопотамии и Сирии. Закалившись в борьбе с этими свирепыми болезнями, он стал скептиком, которого жизнь приучила к своим величайшим бедствиям, сделав его почти равнодушным ко всему. Привыкнув

к скитаниям, он не испытывал желания осесть где-нибудь навсегда, не тосковал по привычному и любимому кругу людей. Его сердце нигде не свило себе гнезда; частицы его были словно развеяны по всему свету во время бесконечных путешествий.

Он был замечательным хирургом: так говорили те, кто знал его лучше меня, но я никогда не слышал, чтобы он делал какую-нибудь хирургическую операцию, хотя он и занимался в нашем квартале лечебной практикой, занимался с ленивым и безразличным хладнокровием.

— Доктор, говорят, вы хороший хирург. Почему же вы не применяете своих знаний? — спросил я у него однажды.

Мы сидели в Люксанпурском кафе — он на своем обычном месте, я — напротив него.

Вопрос мой застал его врасплох, и я заметил, как его обычно безмятежное лицо побледнело. Рюмка коньяка, уже поднесенная ко рту, задрожала в его руке.

Кроме нас, в кафе никого не было.

— Что ж, — после некоторого молчания проговорил он, — если хочешь, я расскажу тебе, почему я больше не занимаюсь хирургией.

Как бы собираясь с мыслями, он с минуту помедлил; поудобнее устроился на стуле, выпрямил свою худую сгорбленную спину и приступил к рассказу:

— Медицинское училище я окончил в числе лучших; вся моя юность и большая часть молодости прошли в кропотливом труде.

Наука была моим единственным увлечением и страстью. Приятели даже высмеивали мое странное в такие годы целомудрие.

Теперь, когда я в состоянии разобраться в характерах и темпераментах людей, мне понятно, что я был слишком наивным и восторженным и первая встреченная женщина должна была завладеть мною целиком. Я никогда не отдавался чему-либо наполовину. Есть люди, которые могут без конца разбрасываться, занимаясь то тем, то этим, совершенно от этого не скудея. Так хорошие духи пронизывают все вокруг своим ароматом и сами при этом почти не выдыхаются. Психологам этот тип людей хорошо известен. Любая вещь, любая забава доставляет им удовольствие. Себя они ни с кем не связывают и все существующее считают своей собственностью. Таким я не был никогда. Первое, с чем мне пришлось столкнуться в жизни, была наука, и я полюбил ее со всей страстью, пылкостью, свойственными моему возрасту.

Из училища я вышел человеком образованным. И только. В то время в Сирии свирепствовала чума. Меня отправили туда; я тогда не боялся смерти, как, впрочем, не боюсь ее и теперь. Призванные биться друг с другом, врач и смерть всегда и враги и друзья.

В Дамаске я полюбил одну девушку-маронитку<sup>1</sup>, полюбил восторженно и самозабвенно. Любовь дала мне возможность испытать что-то похожее на прозре-

---

<sup>1</sup> Марониты — прихожане особой христианской церкви в Сирии и Ливане.

ние слепого. Была ли это любовь? Талила — так звали девушку — относилась ко мне с явной симпатией. Но вызолоченный мундир сотника и волочащаяся по тротуару сабля, видимо, привлекали ее больше, чем я сам. Недалекая и легкомысленная, она не могла поддержать хоть сколько-нибудь серьезную беседу. Но зато любила повеселиться. А я в своих мечтах наделял ее всеми совершенствами. Я полюбил ее имя, полюбил ее всю — начиная от волос и кончая красивыми туфельками.

У Талилы был царственно прекрасный рост и тонкая талия. Ее длинные волнистые волосы непокорными прядями выбивались из-под украшенной резбой позолоченной диадемы. Складки нежно-пенной кисеи на ее видневшейся под красным сейменом<sup>1</sup> груди походили на маленькие, натянутые ветром паруса. Она носила шаровары из черного шелка. Талила прекрасно знала, как она привлекательна. Она пела и умела играть на уте<sup>2</sup>. Часы, проведенные на тахте у ее ног, безмолвные взлеты в заоблачные сферы чувств оставили в моей душе воспоминания волшебного сновидения.

Но что за непостоянное сердце и какая легкомысленная головка!

Ее нежный взгляд, как говорит Франк де Бонбинян, подобно лучам солнца, не отличал тех, кто жил только ею, и своим светом озарял всех одинаково. Я, гордый, ревнивый и раздражительный, не мог вынести этого и рассердился. Узнав причину моего

---

<sup>1</sup> Сеймен — восточная верхняя одежда в виде кафтана.

<sup>2</sup> Ута — восточный музыкальный инструмент.

гнева, Талила удивилась, взяла меня за руку и попыталась разубедить.

— А что в этом плохого? Ведь так много людей бывают счастливы, когда слышат хотя бы одно мое слово!

Могла ли она отказать им в такой ничтожной милости?

— А разве ты сам не смотришь на красивую женщину, когда встречаешь ее на улице? — спросила она у меня.

— Нет, никогда, — ответил я строго.

Прошло пять лет. Однажды в Алеппо, где проходила моя армейская служба, меня вызвали в христианскую семью для проведения хирургической операции. На постели, расстеленной на полу, я увидел молодую женщину.

— Доктор... — нежным голосом позвала она меня.

Это была Талила.

Я подошел и осмотрел больную. С левой стороны груди, почти против сердца, словно голова хищной птицы, набросившейся на ослепительно белое тело, выступала красная опухоль.

— Что вы собираетесь делать, доктор? — с мольбой в голосе спросила она.

— Не бойся! — успокоил я ее. Но она продолжала умолять все жалобнее и жалобнее. Посторонние вышли из комнаты. У постели больной остались только я и ее мать. Талила со страхом спросила у меня:

— Я умру, доктор?

— Нет, нет, скоро тебе будет лучше. — Мать обнажила ее грудь, и я ланцетом прикоснулся к опухоли.

— Смотри в сторону, — сказал я.

— Пусть я умру от твоей руки, — кокетливо прошептала Талила. И тут нож задел... Боже мой, что я наделал? Что натворила моя рука? Волнение, которое мне удалось было унять, вдруг охватило меня с новой силой. Ланцет задрожал, и я сделал еще одно непоправимое движение. До сих пор не понимаю, как это могло случиться? Из перерезанной артерии кровь забила ключом и обрызгала меня. Как помешанный я выбежал из комнаты звать на помощь, я, искусный хирург, стал беспомощным убийцей. Все мои попытки остановить кровотечение оказались напрасными.

Талила приняла смерть от моей руки именно так, как она сама этого пожелала в порыве кокетства.

## РЕХАН



ту пору любил я пышность буйных кудрей. Облокотясь на скамейку, созерцал я черную россыпь волос, что вздымалась над снежно-белым затылком, — россыпь, полную безмолвного обаяния и приковывавшую к себе мой взор.

О многом говорили мне эти волосы! Их немая красота таила в себе что-то пленительное — скромное и в то же время волнуемое.

Издали взор мой следил за милыми извивами этих кудрей, их озорными прядями.

Неожиданным явился тот миг, когда обернулась она ко мне лицом своим. Образ прекрасный? Нет, конечно. Но до странности близкий сердцу и манящий. Усталый и грустный взгляд, как бы наделенный способностью застывать на том предмете, на который бывал устремлен.

Мне показалось, что этот взгляд испытывал меня, измерял, изучал удивленное выражение моих глаз.

Несомненно, незнакомка осталась удовлетворенной этим испытанием. Появления и исчезновения улыбки на ярко раскрасневшемся лице ее были мгновенны. Румянец смущения напоминал ленивые лучи заката, расплывающиеся на западе и заливающие небосвод пламенным багрянцем.

Мы чувствовали себя во власти безмолвной сердечной близости. С ней были пожилые люди — отец и, вероятно, дяди, и в их присутствии, в особенности на глазах у злорадно поглядывавшей толпы, переполнявшей в эту пору Мерхюрдарский сад, вынужденная быть осторожной, незнакомка остерегалась часто встречаться со мной взглядом; но следы томительного нетерпения читал я всякий раз на лице ее, как только, улучив мгновение, она оборачивалась ко мне.

Передо мною было существо, взлелеянное в грезах юности моей; предмет всех стремлений моих находился тут, во всей своей неизъяснимой прелести.

В ее воле было не глядеть на меня, не улыбаться мне — ничто не могло ее принудить к этому, — все же я продолжал бы любить ее, следить за каждым движением ее, постоянно помнить о ней. Ее равнодушие ожившей статуи ни на волосок не могло бы подорвать моей веры в нее. Но я был счастлив — явственно ощущая, что чувства, меня волнующие, далеко не безразличны и ей.

Незнакомка имела мечтательный и озабоченный вид, она глаз не сводила с моря, раскинувшегося гладкой пеленой и осыпаемого алмазами полнолуния;

в безмятежности летней ночи деревья вокруг нас, казалось, замерли.

Воздух был напоен грезами, манившими и покрывшими нас обоих.

Время приближалось к полуночи, когда гуляющие начали расходиться. Луна скрылась. Поднялись и мои знакомые незнакомцы. Легкий кивок, понятный только нам двоим, напоминал о миге прощанья.

Следуя вдалеке, я провожал ее и в темноте едва различал пленительную головку.

Шли они медленно и тихо, и в безмятежной тишине долетал ко мне голос отца, голос суровый и повелительный, требовавший покорности.

Я пожалел ее. Как тягостно ей жить с тираном отцом! Цветок под сенью широколиственного дерева, правда, защищен от порывов ветра, но зато не озарен лучами солнца; там, дальше, другие цветы, отданные прихотливой власти стужи и бури, подвержены как опасностям, так и благам, — но кто из них счастливей?

Чувствую я, что моя незнакомка — в тисках родительской опеки: ее робость склоняет меня к этой мысли. Кто она такая? Где она живет?

Наконец мои незнакомцы остановились неподалеку от школы миссионеров, перед недавно выстроенным домом. Служанка с зажженной лампой отворила им дверь. Я сделал еще несколько шагов, чтобы взглянуть на девушку в последний раз. Первым вошел отец, по старшинству — остальные. Последней вошла она; я остался один шагах в десяти от дома. Тогда я стал его изучать. Дом обращен был к спуску

Куш-Дили и к ручью; что-то деревенски милое почудилось мне в нем.

Справа, в угловой комнате, внезапно блеснул свет, и с улицы я разглядел незнакомку уже с распущенными волосами — она подошла к окну полюбоваться Модайской бухтой.

Вслед за тем свет погас, и мгновенно наступила тьма.

«О чем ты мечтаешь у окна, уронив голову в ладони? Легкий ветерок ласкает твои кудри, и мне отсюда видно, как по ним пробегает дрожь.

Не юноша ли грезится тебе, повстречавшийся сегодня вечером? Долгожданный и найденный незнакомец, что с первого мига встречи становится близким, — юноша, стоящий на улице у стены и мечтающий о тебе!..»

Потом, утомленный неподвижностью, я принимаюсь шагать назад и вперед, не сводя глаз с окна. Чего я жду от нее? Слова, какого-нибудь знака, который мог бы стать несомненным доказательством нашего взаимного влечения?..

В темноте мне трудно разглядеть лицо, закрытое руками, но россыпь кудрей я вижу явственно.

Молчаливо-неподвижная, она не решается первая заговорить.

И я, такой же робкий, как и она, тоже храню молчание, боясь смутить ее мечты.

Постепенно свежеет. На улицах, раскинувшихся справа и слева, слышатся колотушки ночных сторожей.

Наверху ждет она, неподвижно, как мраморное изваянье, и внизу, глядя на нее, стою я, недвижимый и счастливый. Искрящиеся на горизонте звезды мало-помалу бледнеют. Ночь становится все более ясной, чистой и прозрачной, а вдали темная синь моря, теребя прежний блеск, стелется, как черное покрывало на исполинском саркофаге.

Царящее вокруг величавое безмолвие уносит меня в иной мир, в мир чистый и тихий, где нет других обитателей, кроме меня и моей незнакомки; вселенная вся отдана нам.

Пропели петухи; на востоке загорается полоска света; пышные волосы не покидают окна; ветерок ластится к ним, раздувая нежные пряди; свет разливается сильнее — занялась заря.

Я не ропщу на долгие часы бесплодного ожидания. Она — перед своим окном, бессонная, как и я, мечтательная, как и я...

Летят минуты — и вдруг на россыпь кудрей падает луч рассвета... пышный букет садовой травы — душистого рехана трепещет под утренним ветерком.

И этот букет рехана ждал меня до зари!

Как я мог этого не заметить? Смеюсь я над собой. И сержусь я на свою глупость...

Теперь, когда долгие годы пролетели с того дня, я благословляю тебя, пучок душистого рехана, что с такой ласковой щедростью радовал меня всю ночь напролет!

Обрел ты образ девушки, чтоб обмануть меня...  
И не жалею я тех страстных излиятий, что так щедро  
расточал твоим листочкам.

Пусть наступит утро и солнце разольет вокруг меня  
неумолимую силу своих лучей.

Для меня — ты вечно пребудешь пышными, пре-  
красными кудрями знакомой незнакомки.

1893

## САРА



то они?

Муж и жена или брат и сестра — не знаю. У обоих матовый цвет кожи и тонкие черты лица. Их рыжеватые курчавые волосы отливают золотом.

В салоне парохода они сидят неподалеку от меня. меховой воротник пальто у молодого человека приподнят; взгляд его глубоко запавших глаз бесцельно блуждает где-то там, за окном, по глади волн. Он сидит молча и только движением головы отвечает на вопросы своей подруги, ни на минуту не отрывая глаз от моря, которое, кажется, целиком завладело его вниманием.

У нее — бросающаяся в глаза внешность. Шерстяная юбка цвета воска прекрасно гармонирует с цветом ее лица. Она худощавая женщина высокого роста, с тонкой талией и высокой грудью, похожей на вздрагивающий на ветру шатер.

У нее гордая осанка. Она сидит, по-мужски закинув ногу на ногу; а когда, устав сидеть в одном по-

ложении, она меняет позу, слышится шуршание шелка, мелодичная и ласкающая музыка висонного платья.

Она сидит, поглощенная чтением книги, изредка порывистым движением руки переворачивая страницы; иногда прерывает чтение, чтобы сказать мужчине несколько слов или показать ему какое-нибудь место в книге, — все это с улыбкой, со смехом, явно стараясь развеселить своего молчаливого друга и развеять таящуюся в его глазах грусть.

Заботливое внимание этой гордой женщины подобно нежному цветку, распустившемуся на могучем дереве. Восхищаюсь ею и снова спрашиваю себя: «Кто они? Муж и жена или брат и сестра?»

С ними я познакомился на Принкипо. Они оба из богатой еврейской семьи. Муж Сары одновременно приходится ей двоюродным братом. Сара знала, что он болен, но все же вышла за него замуж, не видя в этом помехи для супружеского счастья. «В конце концов какое это имеет значение? Ведь в один прекрасный день, не сегодня так завтра, все умрут. Так стоит ли вообще печалиться об этом?» В ее жилах текла горячая кровь испанки, а в вопросах любви она руководствовалась корыстолюбивой философией своей семьи, которую впитала с молоком матери.

Они поженились и были счастливы. Но болезнь, истощавшая его силы, с каждым днем усиливалась все больше и больше, обрывая одну за другой нити жизни.

— Жалей своего мужа, береги его, — советовали ей друзья и родные.

Но ее порочная натура плохо слушалась подобных советов. Холодное, внешне безразличное ко всему лицо этой женщины не соответствовало ее страстному темпераменту. И в течение двух лет пылавший в них обоих огонь пагубно отразился на здоровье мужа. От перемены климата они ожидали теперь если не исцеления, то хотя бы некоторого улучшения его состояния. Она постоянно находилась рядом с больным, бережно ухаживала за ним, окружала его лаской и нежной заботой, точно так же, как преждевременно родившегося ребенка окружают атмосферой искусственного тепла.

Но едва только ему становилось хотя бы немного лучше, они тотчас же забывали всякую осторожность и снова, как неисправимые моты, расточали приобретенный дорогой ценой ничтожный капитал. Затем следовало раскаяние, неустанные заботы и попытки снова восстановить здоровье больного.

С ее мужем мы стали хорошими друзьями, и я часто посещал их дом. Они поселились у Платаны, как можно дальше от холодного севера. Больной полулежал на широком кресле и все время задумчиво смотрел в окно. О чем он думал? Мне казалось, что он просто избегает смотреть жене в глаза. Он недоволен ею? Что чувствует он в ее волнующем присутствии? Не смахивает ли он на проигравшегося картежника, чьи трясущиеся руки тщетно шарят по пустым карманам, в то время как место за столом, счастливым властелином которого он недавно был, уже принадлежит другому?

Эта прелестная, очаровательная женщина теперь напоминала мне великолепный дворец, владелец ко-

того вынужден его покинуть и уже заранее предусмотрительно вывесил объявление:

«Дом продается».

Среди многочисленных ее поклонников самым робким был я. У нее вы могли встретить множество смелых и предприимчивых до назойливости молодых людей, постигших искусство тонкой лести. Мне же в этой огромной армии завоевателей ее сердца было предоставлено незаметное место в арьергарде. Я не был таким соперником, с которым следовало считаться, и никто не принимал меня всерьез. Во мне не было ничего, чем бы я мог добиться расположения этой необыкновенной женщины. Мои рассуждения, рассуждения философа, уныло взирающего на жизнь, несомненно раздражали Сару, а бессвязные речи — отблески моих разрозненных мыслей — не могли ее заинтересовать.

К тому же она была постоянно окружена умными и находчивыми людьми, которые изливали перед ней потоки остроумия и своими словами нередко вызывали улыбку на ее равнодушном, холодном лице богини.

Всегда и всем она говорила:

— Мой муж болен, и у меня нет настроения...

И когда я слышал это, она становилась мне еще дороже, ведь я тоже искренне любил ее большого мужа. Он сочетал в себе черты поэта и художника. В нем было какое-то внутреннее благородство, и его нельзя было не уважать. Видя, что молодая женщина преданна мужу, что она любит его, я безмолвно благоговел перед ней, как перед существом недоступным,

а моя любовь к ней превратилась в обожание. Мне было приятно видеть, что она не балует вниманием окружающих ее молодых людей, которые приходили сюда лишь затем, чтобы показать красиво повязанные галстуки и рубашки безупречной белизны, и с полнейшим безучастием относились к больному.

Нет, Сара была женщиной добродетельной. Она получила свою законную долю от благ мира сего, насладилась ими и больше положенного брать не хотела; она умела властвовать и над своими чувствами, и над своим телом.

И чем больше поднимался в моих глазах ее нравственный облик, тем сильнее обожал я ее. Я узнавал ее издали по шуму шагов, по благоуханию духов, которыми она душила свой платочек. Подобно старому другу, я знал наизусть все ее привычки и причуды, даже самые незначительные.

Конечно, она заслуживала большего сочувствия, чем сам больной. Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрел на эту молодую женщину, мужественно зарывшую глубоко в душе неисчерпаемые сокровища своих ласк и сумевшую укротить желания и порывы молодости.

Состояние больного ухудшалось с каждым днем, и с каждым днем росла в моих глазах самоотверженность Сары. Теперь она совсем не выходила из комнаты больного. Иногда к нему заходил и я и каждый раз заставлял ее, склоненную над постелью мужа, так что его дыхание касалось ее лица. Эта невиданная готовность самопожертвования граничила с на-

стоящим безумием. Она, несомненно, хотела умереть вместе с мужем, чтобы и на том свете быть с ним, как были они вместе на этом, и неистощимые сокровища своих любовных ласк сохранить только для него одного.

Да, таково было ее намерение!

Однажды, когда я уходил от них, она проводила меня до лестницы. Случай показался мне подходящим, и я предупредил ее о грозящей ей опасности.

— Трус! — бросила она мне в лицо. — Как может молодой человек быть таким трусливым?

От стыда и возмущения я побледнел.

— Я боюсь только за тебя, — сказал я, — ты сама могла убедиться, что я не из тех, которые, опасаясь заразиться, сторонятся больного. Я все время находился рядом с твоим мужем. Если ты не уходишь от него, то это твой долг, ты его жена, а я...

— Любовник этой жены, — шепнула она мне на ухо.

Она взяла мою руку, и я нагнулся, чтобы осыпать поцелуями ее пальчики.

— Нет, — сказала она, вырывая руку, — нельзя. — Но, взглянув на мое погрустневшее лицо, видимо, пожалела и, сделав пальцем какой-то таинственный знак, добавила:

— После!

— Когда же?

Сгорая от нетерпения, я вечером пришел к ним снова.

— После! — повторила она свое обещание.

Я не помню, о чем мы говорили. Я чувствовал себя как во сне и, кажется, растерянно лепетал какие-то

бессвязные слова, с нетерпением ожидая минуты расставания. Наконец я встал.

— После, после, — снова сказала Сара, провожая меня.

Много раз с тех пор она отвечала мне этим словом, и я начал думать, что это бесконечное «после» просто своего рода вежливый отказ.

Так прошло лето. О данном мне обещании я ей больше не напоминал. Но она сама о нем не забывала, и каждый раз ее уста шептали одно и то же слово:

— После!

Но когда же?

Последние минуты больного были похожи на сладкий и крепкий сон. Смерть подбиралась медленно и как будто озаряла его бледное лицо ясным светом. Голова его покоилась на подушке. Он лежал с полужакрытыми глазами, точно такой же, каким я увидел его впервые четыре месяца тому назад на пароходе. Его отливавшие золотом красноватые усы и борода блестели и переливались в утренних лучах солнца, создавая на этом застывшем лице иллюзию уже не существующей жизни. Он умер...

Пораженный, с поникшей головой, стоял я у постели покойного и впервые в жизни так близко наблюдал смерть — спокойную, величественную, почти что привлекательную. Она — расстилающаяся простыней поверхность моря, и за ее ясным и однообразным спокойствием скрывается пустота.

Я спокоен. Покойник не пугает меня. Я только не понимаю — «что» он теперь, этот лежащий в постели человек? Что он заключает в себе? Вопрос или ответ? Мои глаза незаметно наполняются слезами. Сара стоит рядом со мной, но ее глаза сухие. Кажется, что она даже не в состоянии плакать. Ее горе подобно лавине преградило дорогу бурному потоку слез.

Она одета во все черное, и цвет платья подчеркивает восковую бледность ее лица. Вот она подходит ко мне и своим благоухающим платком вытирает мои слезы.

Здесь, в присутствии смерти, я совсем забыл о ней. Но она сама напомнила мне о себе, взяв мою руку так же, как несколько месяцев тому назад, когда я прощался с ней. Глаза ее сверкали каким-то странным фосфорическим блеском, как глаза кошки.

Она насильно усадила меня рядом, напомнила о моих попытках добиться ее взаимности и вдруг совершенно неожиданно произнесла:

— Вот теперь!

И в той же самой комнате, где лежало тело только что скончавшегося мужа, она, подобно опытному адвокату, стала излагать мне свои взгляды на жизнь, свое понимание долга.

Пока муж был жив, она была верна ему, ни на волосок не отступалась от своих супружеских обязанностей, да у нее и не было особой необходимости нарушать свой долг. Неужели она не могла потерпеть?

Его жизнь, словно лишенный масла фитиль, должна была погаснуть с минуты на минуту. И надо было быть просто бессердечной, чтобы не подождать, пока

она угаснет. Потому-то она и говорила каждый раз «после».

Свои поступки она разъясняла так, будто решала арифметическую задачу.

В ее словах была известная логика, но сердечности в них не было. И сам не знаю почему, но взгляды ее показались мне просто-напросто чудовищными и циничными, хотя они и не расходились со взглядами большинства людей.

И я подумал, что те, кто без расчета поступают своим долгом, лучше тех, кто, как Сара, из каких-то своекорыстных расчетов стараются окружить себя ореолом безупречности.

Ее исповедь в присутствии лежащего рядом покойника возмутила и ужаснула меня. Во мне, как безвременно пропевший петух, заговорила совесть, и я отказался от ее любви.

## ЗМАРАХТА



огда подошла его очередь рассказывать, мой друг Элмасын, красивый и богатый молодой человек, о любовных похождениях которого говорила вся Пера, поведал нам следующее:

— В прошлом году у нас в доме жила служанка, гречанка по национальности, красивая девушка.

На нашей улице служанок хоть отбавляй, но среди них не было ни одной столь красивой, как эта. Именно о таких, как она, очаровательных девушках из народа мечтают повара, слуги и бакалейщики.

Прохожие останавливались поглазеть, когда она, как это принято у нас, в субботу утром, босая, мыла порог нашего дома.

Конечно, ее натруженные ноги не отличались изяществом, но были удивительно стройны, а загорелая кожа их, казалось, только подчеркивала нежно-розовый цвет пяток.

Когда она нагибалась, пышная копна ее волос огненным потоком обжигала шею и двумя струями сбегала вниз. Ее голубые глаза смотрели несколько застенчиво. И, быть может именно потому, были особенно очаровательны, как крепкий дурмящий аромат, от которого не можешь и не хочешь избавиться.

Все были уверены, что она дарит мне свои ласки, но они ошибались.

Змарахта не желала даже смотреть в мою сторону, а тем более отвечать на мои заигрывания. Она была молчаливой, как все люди, уверенные в себе.

Однажды в полночь я застал ее у дверей дома с каким-то мужчиной. Мне захотелось увидеть этого счастливца. Я подошел к нему так близко, что он не мог удрать, не столкнувшись со мной. И что же? Мой соперник оказался всего лишь мальчишкой из мясной лавки, мало привлекательным двадцатилетним парнем, грязным, в засаленной одежонке, пропахшей мясом и жиром.

Увидев меня, Змарахта тотчас спряталась, но я решил непременно узнать, чем пленил ее этот субъект. Вы все знаете, что изучение психологии женской души доставляет мне величайшее удовольствие. Внутренний духовный мир женщин — таинственный, неприступный полюс, хранящий свои тайны с большим тщанием, чем Северный.

На следующий день я позвал Змарахту к себе в комнату. Она, очевидно, подумала, что я хочу дать ей какое-нибудь поручение, и тотчас пришла. Я

насиленно усадил ее на скамью напротив, как преступницу, которую, как мне в эту минуту казалось, я волен был судить.

Она с удивлением смотрела на меня, по-видимому догадываясь, что мое поведение имеет прямую связь со встречей прошлой ночью.

Теперь, когда мы были с ней одни, я обратился к ней со следующими словами:

— Послушай, моя милая, я, разумеется, не могу требовать от тебя, чтобы ты меня полюбила. Вкусы у людей разные. Но меня интересует, как можешь ты, такая красивая девушка, отдать свое сердце тому оборванцу, с которым я тебя видел вчерашней ночью?

Змарахта посмотрела на меня. Постепенно с ее лица исчезла свойственная ему робость, и она пренебрежительно, почти нагло ответила:

— Ты — существо ненасытное. Ты — жаден, как и всякий богач. Зачем тебе знать, что влечет меня к нему? Это покажется тебе смешным и непонятным, а для меня мои чувства самые дорогие и самые заветные.

Зачем ты преследуешь меня — бедную девушку? Тебе мало других женщин? Разве не видела я в твоей комнате фотографий твоих любовниц? Фотографии лежат все вместе, в одном альбоме, хотя сами женщины эти не знают друг друга. У тебя есть и дамы и продажные девки. Чего же тебе еще нужно?

Несправедливая судьба щедро одарила тебя богатством, нажитым чужим трудом. А он парень бедный

и на своих грязных лохмотьях повсюду, как свою несчастную судьбу, носит всю магазинную вонь. Он вынужден целыми днями трудиться. Жалкие гроши, добытые тяжким трудом, отправляет он на родину, отцу и матери. Эти деньги — единственное средство их существования, единственное, что поддерживает еще теплящийся огонек их жизни. Весь его заработок — цена твоего минутного удовольствия. Да разве можешь ты понять, что чувствует этот деревенский парень, вынужденный работать в городе, вдали от родных мест. Что доступно ему из удовольствий столичной жизни? Во мне одной он нашел то, чего ему не доставало, — сочувствие и ласку. Не стану скрывать от тебя, я стала его подругой, я пригрела этого одинокого юношу. Но из того, что принадлежит вам, он не украл ничего, он не позарился на ваши права, на ваши удовольствия. Вас ласкают дамы из общества, пусть они и остаются вашими. Я деревенская девушка и буду принадлежать такому же деревенскому парню, и только ему одному.

Змарахта говорила и говорила, а щеки ее краснели все больше. Произнеся последние слова так, точно они вырвались у нее из самого сердца, она поднялась на ноги. Искреннее возмущение, отразившееся на ее лице, сделало его по-настоящему прекрасным. Она стояла предо мной с гордым и дерзким видом, словно бросая мне вызов. А меня куда больше, чем все слова, волновала ее вздымающаяся грудь. Победенный, уничтоженный, я был полон неукротимым

желанием. Покорно склонившись перед ней, я, жалкий, настоящий горожанин, слабое податливое существо, даже не пытаюсь ей возражать, приблизился к ней. Она грубо оттолкнула протянутые к ней руки, будто они были лапами грязного и омерзительного животного, и выбежала из комнаты.

1898

## КАЖЕТСЯ...



не нравились ее локоны, огненными змейками вьющиеся вокруг прелестной головки, нравился ее юный царственный стан, приобретающий во время ходьбы гибкость качающейся от дуновения ветерка ветки, но больше всего я полюбил ее за чистые и ясные глаза.

Женские глаза у тех, кто всматривается в них пристально, всегда оставляют впечатление открытого в бездну окна; там обнаруживается столько неясного и ошеломляюще неожиданного, столько невинного и простодушного.

Я видел все это в ее глазах и был пленен. Предомной была беспредельная и безыскусная искренность, столь естественная, что она казалась отражением самой души.

Видели вы когда-нибудь море в безветренную погоду? В его груди скрываются и гнев и радость. Ясность его сапфирной поверхности поминутно приоб-

ретае тысячи оттенков, как сама судьба его вечно меняющейся стихии.

И каждая из многих миллиардов хрустальных капель, слившихся воедино в этом сверкающем просторе, не может потерять своего лучезарного блеска, это поистине бриллианты, еще более чистые, чем те, что находят в горах.

Сердце моей Аник было одним из таких бриллиантов.

Слова любви, обращенные ко мне, были тоже простыми и безыскусственными. Так обычно выражают свои чувства крестьянские девушки.

— Ты душа моя, душа моя и жизнь, понял? — Речь была прерывистой и несложной, как у детей. Ни модных слов, ни вычурных выражений. Такой же была и ее любовь, спокойной, но цельной. Когда она говорила, мне казалось, будто я слышу слова песни, заученной еще в детстве, и от этого еще более дорогой и близкой.

Но простота ее не была лишена чисто женского кокетства.

Когда однажды я хотел подарить ей свою фотографию, она возразила:

— Нет, мне мало только смотреть на твою карточку, там не ты.

И, указывая пальцем на свою пышную грудь, добавила:

— Ты здесь, в моем сердце, глубоко в потайном, скрытом от чуждого глаза месте и совсем один и весь мой. Понял?

А в другой раз она сказала:

— Ты знаешь, о твоём приходе я узнаю по звону дверного колокольчика, по шагам твоим на лестнице, и по всему телу моему пробегает радостная дрожь.

Я любил ее всем сердцем и так же, как и она, сразу чувствовал ее приближение, — по тонкому запаху духов, оставленному ею, догадывался, к какой вещи она только что прикасалась.

— Ты недавно сидела там? — спрашивал я у нее, войдя в зал, и указывал на стул.

Я не ошибался, и это доставляло ей радость; она улыбалась и краснела.

И, придя в себя от захватившего ее сладостного самозабвения, она, держа свою руку в моей, поднимала на меня грустный, полный тоски взгляд, будто собиралась сказать: «Обещай, что ты меня никогда не забудешь!»

Увлечись безумной погоней за другими женщинами — скорее из любопытства, чем ради истинной страсти, — я уже больше года как расстался с Аник, когда мой близкий друг Оник Чамчян приехал из Измида в Стамбул, чтобы подыскать себе невесту.

Да, я расстался с Аник, но по-прежнему хранил глубоко в сердце ее образ. Ей, исключительной и безукоризненной девушке, я уделил в нем тайный уголок. Каждый раз, когда мне приходилось становиться свидетелем мелких женских интриг и кокетливого притворства, я утешался, вспоминая ее искренность и безыскусственность. Я готов был поднять Аник на пьедестал и поклоняться ей как богине.

Такой же самоуверенный, как и все молодые люди моего возраста, я воображал, что это чистое и бес-

хитrostное сердце все еще переполнено любовью ко мне, хотя мы уже давно расстались. Как сейчас помню, это случилось в одно субботнее утро.

Друг зашел ко мне, чтобы спросить, не знаю ли я что-нибудь о девушке, на которой он намеревался жениться. Ее хвалили все, но прежде, чем принять определенное решение, он хотел узнать мое мнение о ней. Девушка эта была Аник.

Не стану скрывать, узнав о сватовстве друга, я был раздосадован. Она выходит замуж за другого, значит, забыла меня. А я-то считал, что она все еще безутешно оплакивает нашу разлуку.

Ревность так сильно уязвила мое сердце, что я не мог скрыть недовольной гримасы. Друг заметил ее и встревожился, неужели я знаю что-то плохое об этой девушке?

Я успокоил его, сказав, что она красивая и умная, что у нее хороший вкус и, что дороже всего, доброе сердце. Во всяком случае, так утверждают ее знакомые. Я иногда встречаю ее, но близко не знаком. Знаю только, что все единодушно хвалят Аник.

— Другие мне говорили то же самое, — сказал мой друг. — Ну что ж, в таком случае вопрос можно считать решенным... Знаешь, а ты было испугал меня. Мне показалось, что, женясь на Аник, я совершаю неверный шаг. Но если сомнений больше нет, завтра ты пойдешь вместе со мной к родителям Аник и объявишь о моей помолвке.

Напрасно я отказывался, напрасно противился и отговаривался разными причинами. Измидцы народ упрямый. Он не оставил меня в покое до тех пор, пока я не дал согласия.

Отделаться от него я не смог, что ж, пусть будет так.

Завтра я должен был объявить о помолвке Аник... с другим; боже мой, какая ирония судьбы!

В зале собрались ее родители, родственники, друзья. Церемония помолвки обставлена очень торжественно, и мы, двое молодых людей, чувствуем себя неловко. Родных у моего друга нет, и я для него самый близкий человек на свете. Согласно обычаю, он, как виновник торжества, должен молчать, и на меня возлагается обязанность говорить вместо него, поздравлять, произносить традиционные пожелания счастья.

Подали угощение. Аник пока еще не видно. Я представляю себе, что в последнюю минуту, когда она увидит меня рядом с женихом, ее прежняя любовь ко мне вспыхнет с новой силой, возросшей за время разлуки. Дать согласие другому в моем присутствии у нее не хватит смелости. Мне представляется неслыханный скандал, о котором на следующий день будет говорить весь город, представляется, как, войдя в комнату, она устремится прямо ко мне, на глазах у всех бросится мне в объятия и воскликнет: «Я только твоя и никому другому принадлежать не буду!»

Продолжаю грезить наяву: вот вмешиваются родители, насильно отрывают нас друг от друга, выхватывают ее из моих объятий и, как преступницу, ухватив за волосы, волокут по полу, чтобы запереть в какой-нибудь темнице.

Как я жалею, что пришел сюда!

Вошла Аник. Царящая вокруг торжественность насколько не смущает ее. Мои опасения постепенно рассеиваются, и я начинаю восхищаться ее непринужденными манерами.

Легким, приличествующим случаю кивком головы она здоровается с каждым из нас — так принято приветствовать гостей — не слишком сердечно, но и не холодно. Как хорошо владеет собой эта девушка! На ее красивом лице ни тени волнения или смущения. Она не бледнеет и не краснеет.

Я удивлен и в то же время рассержен. А я-то ожидал, что мое присутствие на церемонии застанет ее врасплох и поразит словно удар грома, что она побледнеет и не сможет устоять на ногах от волнения. Ее испуг все приписали бы нервному шоку, волнениям, вызванным церемонией, и только мне одному была бы известна истинная причина. Ее великолепное безразличие уничтожает меня.

Через полчаса церемония закончена. Я расточаю поздравления и добрые пожелания всем присутствующим. Снова подают сладости и кофе. Все непринужденно, по-дружески шутят и веселятся.

Мой друг не любит терять времени понапрасну, он уже стоит рядом с невестой, смеется и беседует с ней. Они там у окна, почти в углу, смотрят на меня и о чем-то шепчутся. Конечно, они говорят обо мне. Как я хотел бы услышать их! Удастся ли Аник скрыть свою прежнюю любовь? Не догадался ли о ней Оник? Вот он кивком головы подзывает меня. Я нерешительно подхожу к ним и не знаю, как мне себя держать.

— Аник, — обращается к ней мой друг, — это мой очень и очень близкий друг: вы оба из Полиса и, наверно, знакомы, не так ли?

Аник поворачивается спиной к окну, чтобы лучше разглядеть меня, слегка щурит глаза, как бы стараясь что-то припомнить. Ее быстрый внимательный взгляд скользит по мне. Я не спускаю глаз с ее лица и не могу прочесть в нем ничего, кроме непритворного, искреннего старания вспомнить.

Да, она напрягала всю свою волю, чтобы вспомнить меня. И ее глаза были такими же бесхитростными и простодушными, как и прежде. Наконец, придя к какому-то выводу, но, по-видимому, не совсем уверенная, Аник ответила нетвердо:

— Кажется, я где-то видела эфенди.

## ПОТУР. I



Возвращаясь домой после торжественного вручения премий — и кем только придумано это варварское слово! — Зарук, счастливая, но, немного усталая от пережитого волнения, держа под мышкой пачку тисненных золотом книг, проходила по ухабистым улицам села, мимо сидевших у домов и вязавших чулки женщин, мимо бегавших по пыли босоногих ребятишек, окидывая разглядывавших ее крестьянок взором, полным гордости и некоторого пренебрежения.

С победоносным видом возвращалась она к себе домой, на противоположный край села, в ветхую лачугу, не развалившуюся до сих пор благодаря соседним домам, на которые она опиралась.

Шестнадцатилетняя девушка, цветущая и жизнерадостная, Зарук в этой темной и грязной лачуге казалась розой, распутившейся на куче мусора. И на фоне окружавшей нищеты ее радостное настроение выпускницы казалось даже неприличным.

Едва она переступила порог дома, как все речи директора и попечителей школы, похвалы в ее адрес, аплодисменты, повторявшиеся после вручения каждой очередной премии, сразу вылетели у нее из головы. И от пышного букета поздравлений, звучащих так, словно перед нею уже была открыта дорога в светлое будущее, не осталось и следа.

Ее больная мать лежала в постели, а писклявый голос младшего братишки, четырехлетнего ребенка, одетого в лохмотья, был слышен на другом конце улицы. Его постоянный плач, казалось, выражал настроение всей семьи.

Девушка на минуту задержалась у постели матери, чтобы показать ей роскошные переплеты полученных в награду книг, которые куда больше заинтересовали всеми забытого на полу малыша, чем большую женщину. Затем она поднялась в свою маленькую комнату, где заботливо припрятала их вместе с учебниками, которые помогли ей так успешно окончить школу. Она надеялась, что этот долгожданный конец учения станет для нее началом новой жизни.

В своем воображении она уже видела эту жизнь и наслаждалась ею. Раннее умственное развитие пробудило пылкую фантазию девушки, и она почти не замечала окружающей ее реальной обстановки. Теперь она стала образованной. Сбылись надежды ее матери, долгие годы проработавшей в Стамбуле служанкой и кормилицей. Другие девочки, вскормленные ее молоком, становились образованными барышнями, и мать лелеяла тщеславную мечту увидеть и свою дочь такой же. Уже тогда она посылала Зарук все свои сбережения, а позже, вернувшись к ней в

деревню, не жалела ни сил, ни трудов, шла на любые жертвы, лишь бы дать ей такое образование, какое на селе могли получить только дети богатых. Она часто рассказывала дочери о полной роскоши и наслаждений жизни армянских барынь в Стамбуле, и ее рассказы были настолько увлекательны, что у Зарук начинала кружиться голова.

Среди своих школьных товарищей Зарук считалась всезнайкой и пользовалась большим уважением. Недаром ее мать когда-то так долго жила в самом Стамбуле!

Надежды, возлагавшиеся на нее школой, Зарук оправдала полностью: каждый год на экзаменах она была первой, на выпускном празднике удостоилась больших похвал и аплодисментов, чем дочери богачей.

И мать и дочь по какому-то молчаливому сговору втайне надеялись, что им удастся достичь большего достатка, чем другим крестьянам.

А тут еще школьная учительница Зарук. Она была из Стамбула и служила для девочки образцом женского совершенства. Эта женщина держала себя так, будто она была самым ангелом, низвергнутым с небес на грешную землю, а необходимость жить в деревне и учить крестьянских девушек воспринимала как наказание. Она не упускала случая вспомнить свой родной город, который был вне всякого сравнения. Что перед ним село со всеми его жителями и эта ничтожная сельская школа.

Когда Зарук перешла в выпускной класс, она сблизилась с учительницей и стала ее подругой. Ведь в душе обеих таилось одно и то же глухое недовольство своей жизнью...

Многочисленные книги, которые читала девушка, еще больше воспламеняли ее мечты, и последний год пребывания в школе она буквально грезил наяву. Это был чудесный, незабываемый год, которому не суждено было повториться, год, когда жизнь далекого города, с ее разнообразием, свободой нравов и подчас нелепыми обычаями, подобно разноцветной радуге, постоянно вырисовывалась перед Зарук на сумрачном деревенском небе.

Ранним утром у родника с ведрами и кувшинами собрались деревенские женщины и девушки, спозаранку приступившие к привычной каждодневной работе и столь же привычной болтовне.

У родника можно было узнать о всех происшествиях, о всех последних сплетнях. Это был своего рода телеграф, откуда новости распространялись по деревне.

Искуи, самая заядлая сплетница в деревне, после приветствий и неудачных попыток протолкаться вперед, сообщила последнюю новость:

— Знаете, девушки, Оганджан хочет жениться на Зарук!

— Оганджан?

В толпе послышался легкий шумок, словно слабое дуновение ветра, покрывающего поверхность моря мелкой зыбью. В недоверчивых и изумленных взглядах чувствовалась зависть.

Оганджан, здоровый, ладный парень, привлекал к себе взоры всех матерей, имевших дочерей на выданье.

Его жилистые ноги, такие стройные, что им могла бы позавидовать любая красавица, были облачены в потур, а узкий суконный полукафтан трещал на его могучей груди. Несколько покачивающаяся походка, свойственная высоким мужчинам, очень шла к его стройной фигуре. Он действительно был красивым парнем. Его одетая набекрень, обмотанная язмой<sup>1</sup> феска своими длинными кистями касалась плеча. А черные усы, недавно пробившиеся тонкими стрелками, уже пленили немало сердец.

Вдобавок ко всему он был владельцем пары волов и довольно большого участка земли. Оганджан был всегда опрятно одет, хотя и занимался тяжелым крестьянским трудом. По натуре несколько грубоватый и простодушный, он откровенно гордился этими своими качествами.

И вот он вдруг вздумал жениться на образованной девушке. Мысль об этой женитьбе неожиданно пришла ему в голову и, как говорит Дюма устами одного из своих героев, тем больше укреплялась в ней, чем усерднее он старался выдворить ее оттуда.

Нет сомнения, что, делая свой выбор, Оганджан руководствовался скорее чувством искренней симпатии к девушке, чем тщеславным желанием неуча мужика иметь самую образованную жену в деревне. Но в то же время он с глубоким удовлетворением подумывал о том, что его предложение спасает Зарук от нищеты и обеспечивает ей пусть скромную, но зато спокойную жизнь. В один прекрасный день —

---

<sup>1</sup> Я з м а — головная повязка из тюля.

примерно через полгода после того как Зарук окончила школу — Оганджан, вопреки глухому сопротивлению своей матери, посватался к девушке.

Однако возможность такого семейного счастья (а по единодушному мнению собравшихся у родника женщин, подобное замужество и в самом деле было великим счастьем) нисколько не соблазняла Зарук. Наоборот, она словно сразу очнулась от своих грез. Ей, образованной девушке, предлагали незавидное супружество с крестьянином, предлагали носить воду, стирать тряпки и работать наравне с мужем, то есть пахать землю, сеять, убирать урожай. Вот чему она должна была посвятить свою молодость, вот что ожидало ее. К тому же человек, предлагавший ей свою руку, носил грубую крестьянскую одежду, а это в ее глазах сводило на нет все прочие достоинства Оганджана.

И Зарук решила: лучше жить в бедности, чем выйти замуж за этого парня. Тщетно старались уговорить ее родственники, напрасно сам протоиерей расточал свое красноречие. Ничего не помогло. Девушка была непреклонна. Один за другим ушли ни с чем посредники. Одна старая тетушка немножко задержалась, еще раз попыталась переубедить Зарук или хотя бы узнать причину ее отказа.

— Дочь моя, почему ты не хочешь выйти за Оганджана? — спросила она у девушки.

— Я никогда не выйду замуж за потурла<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Потурл — крестьянин, носящий широкие шерстяные шаровары — потур.

И действительно, парень, за которого Зарук спустя год вышла замуж, не носил потура. Раньше он жил в городе, и никто не знал, как попал в деревню, где некоторое время работал в национальной школе одновременно и заведующим и учителем. Этот молодой человек, заносчивый, как петух, который откровенно презирал крестьян, был в глазах Зарук воплощением учености, благородства и изысканного вкуса.

Он получал в месяц пятьсот курушей, для села жалованье весьма приличное и уж, во всяком случае, во много раз превосходящее его ничтожные заслуги.

Недостаток образования и отсутствие подлинных знаний превратили этого человека в типичного резонера, которые нередко встречаются среди наших сельских учителей.

В довершение всего он был еще претенциозно высокомерен, на редкость капризен, ему решительно ничего не нравилось, — вот вам муж, избранный Зарук. Но зато он приехал из столицы и дал своей жене клятву, что в один прекрасный день увезет ее туда.

И в беседах снова и снова повторялись слова:

— Когда мы уедем в город...

Человек этот был искренен, когда чуть ли не сотый раз рассказывал восхищенной Зарук о своих планах возвращения в столицу, и притом вместе с нею.

Вот уже несколько лет, как он учительствовал в деревне и с каждым днем все сильнее тосковал по городу. Он без конца говорил о нем Зарук и откровенно предпочитал тяжелую полуголодную жизнь в столице однообразной, оупляющей жизни в деревне.

Иногда он рассказывал о Босфоре и роскошных дворцах, возвышающихся на его извилистых берегах, он гордился этими дворцами, словно их богатства принадлежали ему. И, забыв все тяготы своей жизни, муж и жена единодушно решили переселиться туда, с наивной смелостью воображая, что в Стамбуле ждут не дождутся их приезда и что заведующие школ будут буквально рвать на части, наперебой предлагая ему один заработок лучше другого.

Так жили они в деревне, полные уверенности в том, что находятся здесь лишь временно, и отправляли в город заявление за заявлением с бесконечными просьбами дать им какую-нибудь работу. Никто им не отвечал. Никому не нужен был педагогический талант сельского учителя. Но супруги были молоды и, несмотря ни на что, все еще надеялись, не падали духом и слали все новые и новые письма.

Не прошло и года, как Зарук родила ребенка, а вскоре и второго. И эту молодую женщину поглотили обычные домашние хлопоты, тяжелый неблагодарный труд матери и хозяйки. А ее волшебные грезы, подобно убегающим теням, по-прежнему оставались близкими, но всегда недостижимыми.

Они уже пять лет были женаты, когда между епархией, прихожанами и попечителями школы разгорелась очередная ссора и муж Зарук лишился работы.

Он остался ни с чем. К власти пришли новые попечители, враги тех, кто в свое время дал ему работу. Он же, будучи гордым и самолюбивым, не захотел обратиться к ним и попросить, чтобы ему вернули должность. Ему больше нравилось разыгрывать роль обиженного и незаслуженно пострадавшего человека,

честно потрудившегося на благо народа; эта неблагодарная роль хотя и щекотала его самолюбие, но не приносила ему ни гроша. Теперь он слонялся без дела по деревенским улицам и по-прежнему с едва заметной презрительной улыбкой поглядывал на крестьян. В глубине души он все еще надеялся найти другую работу, достать деньги на хлеб.

Во всей деревне никто не протянул ему руку помощи. Из Вана приехал новый заведующий и сразу же ополчился против учителя, желая окончательно уничтожить потерпевшего поражение врага и не допустить его возвращения в школу. По словам нового заведующего, муж Зарук ничему не учил своих учеников.

— Прежний учитель не заботился ни о разуме учеников своих, ни о их душе, — твердил он каждому встречному.

Этот новый заведующий выдавал себя за опытного педагога, разглагольствовал о психологии и, говоря с очарованными им попечителями, без конца повторял имена Фреопела и Песталоцци.

— Ваш учитель из Стамбула напрасно отнимал время у бедных детей. Он заставлял их заучивать наизусть ряд ненужных имен, вместо того чтобы беседовать с их душами!

Узнав об этом, изгнанный с должности учитель потерял последнюю надежду. По горло погрязнув в долгах, он вскоре лишился последнего куска хлеба. А нужда, со всеми сопутствующими ей ужасами, все сильнее терзала его семью.

Сначала он продал свои словари, потом книги жены, те тисненные золотом книги, которые она когда-то

получила в награду и которые в эти тяжелые дни были извлечены ею на свет божий, чтобы принести реальную, осязаемую пользу.

Когда по поводу одного судебного дела мне довелось побывать в этой деревне, семья учителя существовала только подающими соседям.

Тяжело больной учитель не вставал с постели, и я навестил его. Бедняге не было еще и тридцати лет, однако волосы его уже поседел. Лихорадочно блестящие глаза глубоко впали. Провалившиеся щеки покрывала мертвенная бледность. У порога дома с восхитительной беззаботностью, свойственной их возрасту, играли двое ребятишек, два маленьких потурла в коротких штанишках.

Мать их была одета в полинялое ситцевое платье; из-под черной старой язмы, которую обычно носят вдовы, на лоб спадали пышные волосы; волосы были длинные и спускались до самой талии.

Она заговорила со мной на чистом армянском языке — невинное, кокетливое желание удивить меня. Рассказав мне об их тяжелом положении, она призналась, что с первого дня замужества не знала покоя.

Болезнь — результат недоедания и душевных тревожений — с каждым днем уносила последние силы учителя, и неизбежный конец был уже не за горами.

Он скончался на восьмой день после моего приезда. Смерть была для него избавлением, концом страданий. Его недолгая жизнь прошла в глубокой бедности; столь же бедными были его похороны.

Я и три человека из города, находившиеся в той же деревне, проводили покойного до кладбища, расположенного недалеко от его дома. Из крестьян на похороны пришло человек пять и среди них Оганджан-ага, с которым в тот день меня познакомили.

Скромный, застенчивый человек, он, казалось, извинялся за то, что посмел заговорить со мной.

— Мы люди невежественные и грубые, — сказал он, — носим потур и чувяки.

В его словах было больше скрытого протеста, чем самоуничижения. Это заинтересовало меня. Мы быстро подружались, и на обратном пути Оганджан пригласил меня зайти в его окруженную со всех сторон тутовым садом мастерскую. Эта мастерская приносила ему немалый доход.

Он показал раскинувшиеся кругом поля, рассказал, какой урожай они дают; а главное — все это его собственность, сообщил он мне с гордостью.

— Раньше я был пахарем, — добавил он.

Я похвалил его за успехи, тем более что Оганджан добился их своим трудом.

Вечером он пригласил меня к себе ужинать. Я поблагодарил и отказался, но он уцепился за лацкан моего сюртука и настоятельно просил не отказать ему. Я не мог устоять перед таким гостеприимством, тем более что он, Оганджан, произвел на меня впечатление человека простого и благородного.

Дом его в деревне — один из лучших. Выстроенный в прошлом году, он фасадом своим направлен в сторону дороги, ведущей к побережью. В этом просторном жилище с ним вместе жила его мать — жен-

щина для своих лет еще бодрая, истинный образец бережливой хозяйки.

— Добро пожаловать, — сказала она мне, — мой Оганджан любит гостей, добро пожаловать.

Разговорившись, я спросил у нее, почему в доме до сих пор нет невестки.

— Спроси у моего Оганджана, — ответила женщина.

Я ничего не понял — разговор перешел на другую тему, они рассказывали мне всевозможные истории — старые и новые. После ужина собрались соседи, мы веселились до полуночи. Только глубоко ночью я возвратился к себе, к тому хозяину, у которого останавливаюсь всякий раз, когда приезжаю в эту деревню.

На следующее утро мне поведали историю несчастной отвергнутой любви Оганджана, из-за которой он до сих пор не женился.

Спустя два года к нам поступила служанка из этой деревни. Я принялся расспрашивать ее, что поделявают крестьяне? По-прежнему ли шелк дает хороший доход? И так же ли благоденствуют наиболее влиятельные люди деревни — Хаджи-Карапет, Оганджан-ага.

Услышав имя последнего, служанка улыбнулась.

— Огаджан-ага женился, — ответила она мне, — месяц назад взял в жены вдову.

— Вдову? — спросил я.

— Да, жену учителя, Зарук, ту, на которой хотел

жениться раньше; видишь, господин мой, от судьбы своей не уйдешь.

И в двух словах она поведала мне то, о чем в деревне знал каждый.

— Раньше она не хотела пойти за него, потому что он был потурлом; правда, этот замечательный парень тогда не был таким богатым. А она была ученой. Шутка ли — в школу ходила. Понятно, не понравился он ей. Первый муж не дал ей счастья. Зарук была всегда красивой, но в бедности и красота незаметна. Посмотрел бы ты на нее сейчас — что за фигура, а волосы — словно море, лицо — что луна, — ангел. — И она закончила свой рассказ несколько наивными, но довольно резонными словами, как и подобает умной крестьянке:

— Видишь ли, эфенди, ведь наша деревня не город, мы, женщины, ходим там в шароварах, а мужьям нашим приходится носить потур.

*1900*

## СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ



Доктор Ваганян — врач необычный. Он интересуется не только телесными заболеваниями, но и — может быть даже в большей степени — болезнями души. Да, врач он замечательный. Великодушие его так же велико, как велики его познания и силен его разум.

Ум его не погряз в формулах и не притупился от ежедневных посещений одних и тех же пациентов.

Ученость Ваганяна можно сравнить не с бесплодной скалой, а, наоборот, с радостно зеленеющей равниной.

Доктору под шестьдесят. Хилый и седоголовый, он тем не менее очень веселый и жизнерадостный человек.

В течение своей сорокалетней борьбы со смертью он как будто даже подружился с ней, изучил тайные козни и уловки этого коварного врага, сокрушительные удары которого иногда обрушиваются внезапно и неожиданно, а иногда заставляют ждать себя долгие годы.

Беседы его полны тонких замечаний и мудрых суждений. Богатые личным опытом и воспоминаниями, рассказы доктора очень увлекательны.

Однажды вечером мы собрались в его загородном доме, Гатигюхе. Случайно в разговоре был затронут очень интересный вопрос: какая из тысяч смертей самая легкая с точки зрения медицины и психологии. Мнения разошлись. Одна здоровая и веселая девушка, начитавшись Рафаэля, была одержима страстным желанием стать бледной и худой. Она считала, что самая легкая смерть у того, кто тает от туберкулеза. По мнению некоего молодого человека, куда предпочтительнее был конец от револьверной пули. Третий собеседник утверждал, что наиболее легкой является гибель в морской пучине. Смерть под хлороформом нашла себе двух сторонников.

Были рассмотрены и подвергнуты критике все возможности природы и науки. Но каждая причина смерти имела как свои положительные, так и отрицательные стороны.

Сам доктор слушал нас, не произнося ни единого слова. Спор затягивался, но от истины мы были все так же далеки.

— Я видел самую приятную смерть, — сказал доктор, перебивая нас, — но не могу утверждать, что каждый человек может кончить так же. Из тысячи смертей, виденных мной, она была единственной, о которой я могу смело сказать, что она являлась не только самой легкой, но и действительно приятной.

Видя, что он собирается рассказать нам эту историю, мы умолкли, как послушные дети, и стали ждать.

— С той поры прошло десять лет, — начал доктор. — На масленицу в доме одного моего соседа была вечеринка. Мадам... — называть ее имя нет надобности, не так ли? — в то время уже исполнилось сорок лет, но на вид ей нельзя было дать и тридцати пяти. Она принадлежала к тем женщинам, которые пользуются успехом у большинства мужчин. Таких женщин у нас становится все меньше, и, вероятно, скоро они исчезнут совсем. Над небылицами, которые рассказывали о ней, раньше всех и больше всех смеялась она сама. Она вовсе не относилась к числу тех представительниц своего пола, которые, притворяясь добродетельными, лицемерно краснеют. Она была действительно чиста и поэтому исполнена смелости.

— Против декольте только те женщины, у которых некрасивый бюст, — говорила она, смеясь, и, не стесняясь, показывала на свои колышущиеся груди, почти открытые вырезом корсажа.

Муж этой женщины годился ей в отцы и позволял ей любые вольности. Ее окружали самые красивые и самые талантливые мужчины. Как бабочки, они кружились вокруг нее и порой сгорали в раскаленной, воспламеняющей атмосфере.

Что касается женщин, то далеко не все питали к ней симпатию: ей завидовали, о ней злословили.

Смелая и уверенная в себе, она была подобна солнцу, в свете которого наигранная застенчивость и робкая блудливость других женщин бросались в глаза еще ярче.

Несмотря на это, женщины никогда не избегали ее дома, ее вечеринок, где их всегда ожидало самое веселое и остроумное общество.

Время от времени меня приглашали в этот дом осмотреть мадам, с которой иногда случалось что-то вроде обмороков. При первом же осмотре я обнаружил характерные признаки болезни сердца, но, не желая расстраивать больную, я ограничился предупреждением.

— Ничего особенного, обыкновенное нервное расстройство, — сказал я ей. — Главное — спокойный образ жизни!

Это было все, что я предписал ей; но разве она меня слушала?

Однажды я рассердился.

— Мадам, — сказал я, — ходить напрасно я не намерен. Вы не выполняете моих указаний. Я считаю, что вызывать меня в другой раз нет необходимости. Обратитесь, пожалуйста, к более сговорчивому врачу.

Больная поняла меня сразу. Она была женщиной умной, тактичной и извинилась передо мной таким приятным и нежным голосом, что устоять не смог бы даже самый бессердечный человек.

— Я требую этого ради вашего здоровья. Я не могу смотреть равнодушно и молча, как вы губите себя, продолжая вести прежний образ жизни, противоречащий всем требованиям медицины. Я не могу не запретить вам продолжать такую жизнь.

— Не для того ли, дорогой доктор, чтобы прожить один лишний день? — сказала она улыбаясь, — чтобы лишний день страдать?

Я уже собирался уходить, но она взяла меня за руку, заставила сесть рядом с собой и продолжала:

— Вы, врачи, пытаетесь продлить человеческую жизнь. Но не старайтесь продлить жизнь женщин, ведь вы не сможете уберечь от увядания свежесть и красоту этих бедных существ. Больше или меньше проживет женщина, превратившись в старуху с седыми волосами, морщинистым лицом и дряблой плотью, это уже не имеет никакого значения. Можете ли вы сохранить женщину молодой во всем ее очаровании? Не можете? Тогда позвольте ей умереть.

Она была верна своему призванию, она выполнила свой долг. К чему заставлять потерявшего голос певца оставаться на сцене до тех пор, пока его не освищут и не высмеют. Женщина — это улыбка, и не нужно, чтобы она превращалась в плач.

Болезнь обострилась, удушья участились, а она по-прежнему оставалась глухой к моим советам, продолжала безудержно веселиться и наслаждаться. Странное было у нее представление относительно роли и призвания женщины, а впрочем, может быть, и самое верное. С самозабвенной смелостью делилась она с окружающими тем, что имела от природы, — своим обаянием. Она была Надеждой и Радостью многих, в то время как никто другой нуждалась в них сама, подобно продавщице фиалок Кобе. *Elle mourait de l'hiver, en vendant le printemps*<sup>1</sup>.

Вечер в самом разгаре. Множество красивых женщин, множество миловидных девушек, столько же

---

<sup>1</sup> Продавая весну, сама она умерла от зимы (франц.).

молодых людей и юношей. Здесь, в атмосфере, насыщенной невысказанными желаниями, самой красивой, самой пленительной и самой нарядной была хозяйка дома.

— Посмотрите, она ни на минуту не расстается со своим возлюбленным. Эта женщина не считается ни с чем, — судачили между собой дамы.

Молодой человек, которого они имели в виду, был бледен и худ. Женщины чуть ли не дрались из-за него. Стоустая молва о его бурной жизни способствовала его успеху у женщин. Он был оригинален во всем, и на каждой вещи, принадлежавшей ему, лежала печать своеобразия. В кончиках его тонких черных усов притаилась неуловимая презрительная усмешка. Глаза с короткими ресницами выдавали усталость, вызванную бесконечными ночными похождениями. Он был честолюбив, и неукротимая гордость этого преждевременно увядшего молодого человека была для него более тяжким бременем, чем для других самые напряженные научные изыскания.

Он был умен и имел хороший вкус. После нескольких лет, проведенных в Европе за изучением юридических наук, он с дипломом, полученным им с великими усилиями, но зато прекрасно познав жизнь, вернулся домой. В аристократических салонах, в окружении красивых женщин и талантливых мужчин он провел больше времени, чем в аудиториях; все промотал, все растратил. На родине он не стал ни судьей, ни адвокатом, искренне и мужественно признавшись в своей бездарности.

Все в нем было приятным и даже мягким — его голос, его движения. Но под этой мягкостью скрывалось

безмятежное спокойствие уверенного в себе человека или, вернее, человека, сознающего свое превосходство.

За девицами он не волочился. Он так много пере-видел, что относился к ним почти по-отцовски — в его глазах они были просто детьми. Встревожить чистую душу девы означало для него поддаться низменным инстинктам, поступить подло. Да, в этом любящем наслаждения человеке имелись и такие странные, непонятные при его образе жизни добродетели.

Его стремлению брать крепости с боя претило вкрадываться в сердце девушки, мечтающей об идеальной, чистой любви. Такие коварные приемы были ему не к лицу.

Если верить слухам, он уже более года был близок с мадам, и все, даже сплетничая о них, признавали, что эти необыкновенные натуры удивительно гармонируют друг с другом.

Все танцевали. Мужчины принесли сюда непреодолимую силу желаний, женщины — готовность уступить им. Все это представлялось бесконечной вереницей безудержных объятий и колыхающихся волн.

Когда зазвучал вальс, мадам закружилась в его вихре со своим возлюбленным, весь вечер неотступно следовавшим за ней по пятам. Среди танцующих эта пара была самой элегантной. Мы смотрели на нее с восхищением. Это был не танец, а что-то ошеломляющее: фантастическое парение, упоение — словом, сама поэзия.

Остальные пары скоро прекратили танцевать и, став в круг, с восхищением смотрели на них. В восторженных взглядах гостей немало места занимала зависть.

Внезапно, будто споткнувшись, мадам чуть не упала; молодой человек с трудом удержал ее в своих объятиях. Все подумали, что она оступилась. Однако с ней случилось что-то более серьезное: она была в обмороке.

— Доктор, скорее! — закричал молодой человек.

Я сразу поспешил на зов, и мы вдвоем положили ее на диван. С трудом она открыла глаза. И я сразу увидел симптомы сердечного удара. Во всеобщем переполохе невозможно было добиться, чтобы принесли лекарство. Посторонних попросили удалиться, и один за другим гости разошлись. Еще не утихли последние шаги на лестнице, когда она скончалась. Она умерла в объятиях возлюбленного, неожиданно, как птица, настигнутая стрелой. Я даже не успел оказать ей какую-нибудь помощь. Все радости ее жизни словно соединились воедино в ту секунду, когда она покинула этот мир.

Можете ли вы представить себе более счастливую смерть? Испытывать муки болезни ей не пришлось. Старость не сгубила ее красоты. До последней минуты она оставалась женщиной, искренне обожаемой и достойной обожания. Смерть настигла ее на руках любимого человека, подобно тому, как разбивается вдребезги над праздничным столом во время пира стакан, разбивается, когда люди произносят добрые пожелания, а не где-то там на кухне, когда прислуга моет его в грязной воде. Женщина эта ушла из жизни в тот миг, когда она испытывала наивысшее счастье.

## БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫЙ



еворкян Никогос-ага был ювелиром, и дела его шли успешно. Ему было около пятидесяти лет, но он оставался холостяком, так как все еще надеялся выдать замуж своих сестер — Бемпе и Нектар. Много раз его убеждали обзавестись семьей, но он не желал нарушать обычая: брат может жениться только тогда, когда выдаст замуж всех своих сестер. Он строго придерживался обычаев и религиозных правил и был твердо убежден в их святости и необходимости.

Младший брат Никогоса-аги, менее совестливый чем он, женился, но его сразу же постигло несчастье. В течение нескольких лет он лишился всего состояния и умер от паралича сердца, оставив на попечение Никогоса-аги вдову и маленького сына.

В такой трагической развязке Никогос-ага прежде всего увидел предостережение свыше. Непреклонная воля его отца, известного всему чарши<sup>1</sup> Геворга-аги, с малых лет приучила его к повиновению.

<sup>1</sup> Ч а р ш и — восточный рынок.

Десять лет прошло с тех пор, как отец сошел в могилу, но, несмотря на это, он все еще незримо властвовал над сыном и по каждому вопросу давал свои советы, точнее — приказы, которым Никогос-ага беспрекословно подчинялся.

Прежде чем решить какое-нибудь дело, вызывающее у него сомнение, ювелир спрашивал своего отца, и ответ не заставлял себя долго ждать. Каким бы ни был этот ответ, Никогос-ага следовал ему со спокойной совестью, даже если бы ему предстояло убить человека. Лишенный воли, человек этот был все же вполне доволен собой.

Оправдывая свои поступки полученным повелением, он открыл секрет, как жить без треволнений, с чистой совестью.

Он имел дом в предместье Гаты-гюк, вблизи Мерхюртара, и в своей деревне пользовался всеобщим уважением. Дом его был типичным патриархальным домом ремесленника. Гостиная находилась на среднем этаже. Стены ее были уставлены сетирами<sup>1</sup>. Чистое, белоснежное покрывало с исключительной заботливостью и осмотрительностью скрывало от постороннего глаза дамаск сетиров и подушек. Такие же чистые занавеси из хлопчатобумажной ткани закрывали окна. Слева находилось прислоненное к стене бюро с большими, уже давно и навсегда остановившимися круглыми старинными часами. Часы стояли на двух маленьких остроконечных подпорках и были похожи на раскрытый немигающий глаз, напоминавший глаз покойного Геворга-аги. По обе стороны от них под

---

<sup>1</sup> С е т и р — кресло восточного типа.

стеклянными колпаками лежали обветшалые украшения, сделанные из искусственных цветов, а перед ними стояли бутылка с водой и два стакана на маленьких ажурных блюдечках.

По вечерам Никогос-ага, сидя в своем любимом углу, выслушивал новости дня, почерпнутые его сестрами у прачки Мариам, которая как никто была осведомлена обо всем, что творилось вокруг, так как бывала во многих домах деревни.

— А знаешь ли ты, Никогос-ага, что дочь Пояджанов выходит замуж?

Беседа каждый раз начиналась с известия о чьей-нибудь женитьбе, о которой Нектар-ханум с явной обидой сообщала своему брату, как бы желая подчеркнуть всю несправедливость своего затянувшегося девчества.

Потом речь заходила о возрасте жениха и невесты, и тут спор становился горячим.

— Я была вот такой девочкой, — говорила Нектар, держа руку на расстоянии одной пяди от пола, — почти такой же тогда была и она.

Этого Никогос-ага уже не мог стерпеть.

— Уж не сошла ли ты с ума, Нектар-ханум?.. Она молоденькая девушка, ей и двадцати еще нет...

Старая дева выходила из себя и приводила в свидетели Бемпе-ханум.

На этом месте разговор обычно прерывался и возобновлялся снова только спустя некоторое время.

— А жена Ншаник-аги рассталась со своим любовником; оказывается, большую часть домашних расходов и все ее тряпки оплачивал он. — И Нектар-ханум со вздохом удовлетворения добавляла:

— Теперь все ясно, а раньше я никак не могла понять, откуда эта женщина берет деньги на свои наряды.

Так Нектар-ханум перемывала косточки всем жителям деревни, переходя от дома к дому и никого не обделяя ненавистью, накопившейся в ее мстительной душе.

Подобные разговоры происходили ежедневно и затягивались до четырех часов утра, — после чего каждый уходил в свою комнату.

Никогос-ага в Перу не ездил, но зато в течение ряда лет раз в неделю уходил куда-то из дому на целую ночь. И в этом заключалась вся тайна его жизни.

Ему только что исполнилось двадцать лет, когда он впервые пошел на рынок, чтобы заработать деньги. В это лето у них появились новые соседи. Вновь приехавшая семья состояла из матери-вдовы и двух дочерей. У них, видно, водились деньги, так как они держали повара и служанку. Мать, очень красивая женщина лет тридцати пяти, любила веселье. Не прошло и двух месяцев со дня их приезда, как она уже успела сдружиться со всеми соседями, и каждый вечер у нее непременно бывали гости. Раза два в год она устраивала даже настоящие банкеты. Такое соседство вызывало у родителей Никогоса серьезное беспокойство. Они стали узнавать у всех знакомых, за кем была замужем их соседка, откуда она приехала, каково ее состояние. Безудержно веселая жизнь этой семьи была как бы насмешкой над их угрюмым, размеренным существованием. Им казалось опасным соседство женщины, которая улыбалась

гостям, подавала мужчинам руку и приучила к тому же своих дочерей. Все это настораживало семью Геворга, и они навестили соседей всего раза два.

Побывав в гостях у этих веселых и всегда улыбающихся людей, Бемпе и Нектар не испытали иного чувства, кроме удивления, зато Никогоса какая-то неведомая сила, подобно зову счастья, влекла к новым соседям. Старшая дочь Софик своим высоким и тонким станом, красивыми голубыми глазами и шелковой волной золотых волос совершенно очаровала его. Он тоже был красивым и совсем молодым парнем, с едва заметным пушком на верхней губе. Они полюбили друг друга, но хмурое лицо Геворга-аги вскоре омрачило их радость. Он узнал, что приехавшая женщина — одна из тех, о ком ходит слишком много слухов: она разошлась со своим мужем; капитал ее ничтожен, а все ее банкеты, которым мог бы позавидовать любой богач, ничто иное как отчаянная попытка выдать замуж дочерей. Это последнее обстоятельство окончательно развеяло его уважение к соседям. Ремесленники привыкли преклоняться перед богатыми и быть высокомерными с теми, кто беднее их. И Геворг-ага, словно догадываясь о любви Никогоса, говорил каждому встречному:

— Своим сыновьям я никогда не позволю жениться на дочерях женщины, о поведении которой говорят так много плохого.

Этот беспощадный приговор тяжким ударом обрушился на Никогоса, не оставив ему ни малейшей надежды; молодому человеку было легче умереть, чем воспротивиться воле отца. Вскоре он заболел, а через

некоторое время их соседи переехали на другую улицу, в район Гуш Тили. Шли месяцы, но молодой человек не мог забыть своей возлюбленной и, едва выздоровев, тут же побежал к Софик. Теперь они стали встречаться тайком, ночью у садовой калитки. Впоследствии, узнав, что мать Софик испытывает крайнюю нужду, он с готовностью стал помогать ей деньгами. Отныне Никогос заходил к ним прямо домой и уже больше не торчал у калитки, как прежде. Разумеется, визиты эти по-прежнему держались в тайне от отца. Вскоре Никогос взял на себя все заботы об этой семье, и за такую преданность его полюбили еще больше. Так продолжалось два года, и вот однажды мать Софик слегла в постель с тем, чтобы больше не встать. Тяжелое воспаление легких в течение восьми дней свело ее в могилу. Никогос каждый день ходил к больной и ухаживал за ней, не давая ей почувствовать недостатка в чем-нибудь.

Умирая, женщина вспомнила о своих детях.

— Я не оставляю их, — сказал ей Никогос.

И, успокоенная его словами, она умерла.

Связь эта для молодого человека была чем-то вроде супружества и даже больше чем супружество. Он остался верен своей тайной любви и данному покойной обещанию. За всю свою жизнь у него не было другой женщины, кроме Софик. Даже брачный обет он не соблюдал бы с большей верностью.

Так примирил он в своем ограниченном уме любовь свою к Софик и подчинение отцу. Отец не хотел, чтобы он женился на этой девушке, — он и не

женился. Но, будучи взрослым парнем, почти что зрелым мужчиной, он, конечно, имел право любить и, имея такое право, не расставался с Софик.

Часть своего заработка, ровно столько, сколько мог утаить от отца, он давал ей и ее сестре. Его связывало с Софик и какое-то суеверие. С тех пор как он стал с ней встречаться, его дело с каждым днем приносило ему все больше прибыли, в то время как многие ремесленники обнищали и разорились.

Никогосу казалось, что эта удача дарована ему в награду за обещание, данное умирающей женщине. Но однажды, день этот он запомнил навсегда, Софик сообщила ему, что она беременна. Приближающееся рождение ребенка должно было раскрыть перед всеми с таким старанием скрываемую связь.

Никогос заставил жену применить все средства, чтобы уничтожить ребенка, однако природа свела на нет все его старания, и, когда сын все-таки родился, Никогос даже обрадовался, что все его попытки оказались безуспешными. Но радость эта была недолговременной. Жизнь Никогоса осложнилась новыми неприятностями и огорчениями. Наиболее хлопотным делом оказались крестины ребенка — где найти крестного отца, кому доверить тайну. Наконец крестины состоялись, и вечером Софик объявила ему, что их маленький Арам внесен в церковные реестры как «сын церкви». А когда Геворг-ага внезапно умер от паралича сердца, сам Никогос-ага был уже отцом двоих детей.

Как ни старался он скрыть от людей свою связь, о ней узнали многие. Хорошо одетого человека, который сначала навещал Софик-ханум только днем,

а впоследствии один раз в неделю стал оставаться на ночь, соседи некоторое время считали родственником молодой женщины. Но вскоре они дознались, в чем дело. Не желая знаться с распутницей, несколько семей прекратили с ней знакомство. Но Софик-ханум была поглощена воспитанием детей, и мысль о «загубленной» жизни никогда не приходила ей в голову. Благосклонности этой красивой женщины безуспешно добивались многие мужчины. Но она хотела обвенчаться лишь с тем, кто перед богом был ее мужем, хотя бы для того, чтобы не краснеть перед своими детьми и дать им его имя. Но Никогос-ага упорно уклонялся. В школе его сыновья — Арам и Геворг — носили фамилию матери. Когда они подросли и стали кое в чем разбираться, к ее материнским думам прибавилась еще одна. Надо было как-то назвать человека, который раз в неделю приходил к ним домой. Так Никогос-ага стал их дядей, и некоторое время эта выдумка имела успех. Потом появились и другие огорчения. Однажды Арам вернулся из школы со слезами на глазах: во время ссоры мальчишки называли его ублюдком и набросились на него с кулаками. А учитель, вместо того чтобы защитить мальчика, выгнал его из школы. В дальнейшем обидное слово «ублюдок» стало обычной кличкой Арама, и мать была вынуждена забрать его из школы.

Когда умер Геворг-ага, Никогосу-аге было уже за сорок. Долгая жизнь под опекой отца, безропотное подчинение отцовской воле вконец испортили его характер, сделали человеком слабым и пассивным.

Многие матери и отцы приводили его в пример своим детям, как воспитанного и послушного сына. Он постоянно носил темный, а то и вовсе черный костюм; зимой и летом ходил в легком пальто, которое считал обязательным для человека его возраста. А свою сорочку, приподнятый ворот которой был повязан черным галстуком, он ни за что на свете не согласился бы променять на модную.

В магазине, где он покупал себе вещи, знали его неизменный вкус и, когда он перед пасхой или рождеством заходил туда, без лишних слов заворачивали костюм, шесть рубашек и два галстука; зимою — три пары хорошего шерстяного белья и шесть пар теплых носков; а летом то же самое, но из хлопчатобумажной ткани. Неся покупки домой, он каждый раз восторгался, как мальчик, которого наряжают в новую одежду; это была единственная радость в его жизни, неизменно повторяющаяся два раза в году.

После смерти Геворга-аги, призванный занять его место в доме, он сначала растерялся и напрасно старался выпрямить свою покорно и почтительно изогнутую спину.

Одно время Софик-ханум так настоятельно уговаривала его узаконить их брак, что стал подумывать о женитьбе. Его духовник, добросердечный человек, советовал то же самое. Но как только он упомянул о своем намерении дома, все поднялось вверх дном.

Нектар-ханум, говоря степенно и в мягких тонах, дала ему понять, что если он поступит так, то на него падет проклятие отца. Слыханное ли дело, брат думает жениться, не выдав замуж своих сестер. Пусть припомнит, что случилось с младшим братом. Конеч-

но, это его дело, и он может поступать, как ему заблагорассудится. Одно бесспорно — если он женится, невестка, едва переступив порог, тут же выгонит их из дому, и они, несчастные, будут вынуждены либо попрошайничать, либо пойти в дом призрения. Но Никогос — глава семьи, и они, конечно, подчинятся ему.

Никогос не нашелся что возразить. Перед его глазами встал образ отца, его неумолимо строгое лицо. Он и теперь сидел в углу, прямо напротив него. И это не позволило Никогосу признаться сестрам ни в своей давней любви, ни в существовании двух детей. Он внутренне согласился с сестрой и, как все нерешительные люди, отложил решение этого сложного вопроса на более подходящее время.

Теперь дела Никогоса-аги шли еще лучше. Он стал одним из самых богатых ювелиров во всем Чарши, был выбран членом лончи<sup>1</sup> и казначеем в приходском совете.

Его племянник, теперь уже взрослый парень, помогал ему в торговых делах. Как счастлив был бы Никогос, если бы и его дети, два его ангелочка, также находились рядом с ним. Но тут же подумал, что такой поступок будет безнравственным. И Никогос так и не решился на этот шаг.

Как и отец его, он внезапно скончался от наследственной болезни сердца.

Чтобы достойно похоронить такого человека, поднялась вся деревня — церковь была полна народу.

---

<sup>1</sup> Лонча — цех; цеховое собрание; цеховой клуб.

Воскресный июльский день. В церкви зажжены все люстры и свечи; пригласили архимандритов и священников; прибыл даже епископ, который отозвался о покойном, как о безукоризненно честном человеке. И действительно, по всеобщему мнению, честность заключается не столько в том, чтобы не нарушать общепринятых правил и порядков, сколько в том, чтобы ловко скрывать свои грехи.

Никто на свете не умел скрывать свои прегрешения так, как это делал Никогос-ага. Он сделал несчастной целую семью и не только не оставил своим сыновьям средств к существованию, но даже не согласился дать им свое имя. Переложив тяжесть своего преступления на плечи детей своих, он покинул этот мир. И общество со всеми его предрассудками и условностями большего и не могло требовать от этого безвольного человека, который всю жизнь только думал о том, чтобы не подорвать к себе уважение.

Медленно, не спеша несли гроб; тело покойного, казалось, стало тяжелее от совершенных им преступлений.

Потом люди, несшие гроб, принялись обрызгивать его одеколоном; те, кто шли в начале процессии, подносили к носам платки. По-видимому, труп начал разлагаться, так как, несмотря на все усилия, вокруг гроба распространялось ужасающее зловоние. И казалось, что все отвратительное, что долгие годы таилось в этом человеке, теперь вырывалось наружу — символический конец жизни этого эгоиста. Природа будто спешила обратить тело Никогоса-аги в прах.

Зловоние усиливалось, оскверняя воздух прекрасного летнего дня; по всей вероятности, имело место внутреннее кровоизлияние. Родственники покойника уже не знали, что и делать. Ни церковное покрывало из первосортного бархата с широким серебряным крестом, накинутое на труп, ни всеобщие симпатии, которыми пользовался покойный, не могли приостановить начавшегося тления. Яркое полуденное солнце заливало чистым светом правды лицемерных людей, насмехаясь над их лживой совестью и порядками.

За гробом шло избранное общество, и все в один голос восхваляли покойного. Некий злоречивый человек, каких всегда хватает на подобного рода церемониях, язвительно заметил, что блаженной памяти достойный оставил двоих детей, двоих непризнанных им сыновей. Его слова были услышаны, но в глазах этих людей все благородство покойного заключалось как раз в том, что он не признал своих сыновей. Болтуна не поддержали, и он умолк. Мне припомнился судебный процесс, последовавший за смертью этого человека.

Софик-ханум соблюдала траур, но от защиты прав своих детей не отказалась. Желая знать, что будет с ними дальше, она обратилась сначала в приходской совет, потом в патриархию. Везде дивились ее наглости, — как может невенчанная женщина претендовать на супружеские и материнские права? Ее гнали отовсюду. «Справедливость» смогла устоять и перед женскими слезами. Исчерпав все средства, несчастная мать известила Нектар-ханум, что Никогос-ага — отец двух ее детей, что ей известно об оставленном им большом наследстве и что она просит помочь ей.

Нектар-ханум, которая не привыкла лезть за словом в карман, ответила ей, что содержать ее ублюдков она не обязана. Тогда Софик-ханум обратилась в суд. Комиссия и канцелярии тотчас стали на защиту священных основ супружества, которые, по их мнению, находились в опасности.

Я случайно проходил мимо ворот Большого рынка, когда служители шер<sup>1</sup> опечатывали мастерскую покойного. Был поздний вечер, и под каменными арками рынка постепенно сгущалась тьма. Тут собрались ювелиры со всего рынка. Прибежала, голося во все горло, и Нектар-ханум. Все ремесленное сословие со своими закоснелыми порядками, с моралью, основанной на лжи и выгоде, предстало в виде этой престарелой девицы, с ее беспорядочной руганью, полной армянских и турецких бранных слов. Сначала она пыталась убедить чиновников, но, не найдя на их жестких, бесчувственных лицах и тени сочувствия, обратилась к собравшимся ремесленникам, призывая их оказать ей поддержку в справедливой тяжбе.

— Я — родная сестра золотых дел мастера Никогоса-аги, вы ведь все знали его, — чуть не плача, кричала она, вся мокрая от пота.

Ее окружила толпа зевак.

— Все это досталось нам от нашего отца Геворга-аги, — объясняла она. — А они пришли, чтоб опечатать мастерскую моего брата. По какому праву? Наследники мы — я, моя сестра и наш племянник. Других законных наследников нет. А тут вдруг взяли да выдумали каких-то детей, позорят имя моего брата!

---

<sup>1</sup> Ш е р и — церковный суд.

Благородным, блаженной памяти достойным был он человеком.

В наступившей темноте было трудно разглядеть ее лицо. Но голос, прерывавшийся от удушья, хриплый, глухой голос, подобно угасающему светильнику, вдруг вспыхнул в последний раз и с новой силой зазвенел в царящей вокруг тишине, перелетая от арки к арке.

Один из присутствующих вмешался в разговор:

— Я знаю хорошо, что Никогос-ага оставил двоих детей.

— Ты говоришь детей? А почему бы не называть их ублюдками? Кто признает их?

Голос ее дрожал от волнения. Желая помешать чиновникам опечатать мастерскую, она хватала их за руки. Служители мягко отстраняли ее, убеждали, что они лишь выполняют свой долг и не собираются ущемить чьих-либо прав.

Но Нектар-ханум упрячилась; привыкшая навязывать свою волю другим, она была оскорблена тем, что ее не слушают. Своей полной низкорослой фигурой она загрозила железные двери мастерской, нечеловеческим усилием стараясь воспрепятствовать чиновникам подойти к ним. В своей неутолимой ненависти она снова и снова проклинала тех, кто возбудил против нее это дело.

— Да, ублюдки, они просто ублюдки!..

Тут Нектар-ханум потеряла сознание и упала. Лицо ее искажилось. Ей намочили виски водой и усадили на стул. Глаза женщины были закрыты, но губы все еще шевелились и некоторое время продолжали проносить проклятия, пока совсем не оцепенели.

## Ш Л Ю Х А



аджи Тюрюк, поставщица служанок, только через две недели с величайшим трудом подыскала подходящую служанку для жены кесарийца Газара-эфенди, Сурбик-ханум, одной из богатейших дам в стамбульском предместье Гатыгюх.

Долго разные причины заставляли Хаджи Тюрюк быть и служанкой, и няней, и прачкой, и поварихой: все виды работ в стамбульских армянских домах ей были известны, и она выполняла их одну за другой, скрывая за внешней покорностью свою внутреннюю независимость.

В пору юности Хаджи Тюрюк, еще не успевшая съездить в Иерусалим и получить звание «хаджи»<sup>1</sup>, превосходно изучила нравы обитателей богатых домов. Она была довольно красива, а поведение ее в

---

<sup>1</sup> Х а д ж и — почетный титул мусульманина, совершившего паломничество в Мекку.

инных домах вызывало у хозяек взрывы ревнивой зависти.

Много перевидала Тюрик на своем веку, не хуже ищейки разнюхивала всякие пакости, чутким ухом из-за дверей улавливая шепот неосторожных признаний.

Она была уже опытной выжигой, когда на сколоченные от подачек и жалованья деньги отправилась в Иерусалим не то молиться, не то каяться в грехах.

Вернувшись из святых мест, Хаджи Тюрик оставила подневольную службу и начала самостоятельно добывать хлеб, рекомендуя в знакомые дома женскую прислугу. Всегда исполнительная и веселая, она много нажила на этом деле; становясь на дружескую ногу с почтенным главой семьи и важной хозяйкой, Хаджи Тюрик умела интересно рассказывать все злободневные новости. И как же были ею довольны! Ведь, кроме нее, никто не умел отыскивать таких служанок. Прислуга, рекомендованная Хаджи Тюрик, целыми годами служила на одном и том же месте. Только к ней одной и обращались из всех так называемых порядочных домов; ее клиенты даже хвастались:

— У нас маклершей сама Хаджи Тюрик.

— И у нас тоже.

Вот почему Сурбик-ханум, решив дать Мариам помощницу, послала за маклершей и подробно объяснила ей, что требуется от новой служанки.

— Прежде всего она должна быть исполнительной; не беда, если первое время не будет успевать — приучится понемногу; да и то сказать — работа не бог весть какая: убрать постель моего сына, Оника,

вычистить его одежду; только предупреждаю — держать девушку у себя я не могу.

И тут же, спохватившись, что в определении границ обязанностей новой прислуги она перехватила через край, Сурбик-ханум поспешила добавить:

— Мне бы не хотелось, Хаджи Тюрик, иметь у себя в доме какую-нибудь вертушку; если только ты мне угодишь, я тебе за маклерство заплачу больше, чем следует.

— Понятно.

Маклерша была себе на уме. Тотчас устремилась она на поиски, но никак не могла угодить Сурбик-ханум. Правда, хорошеньких хоть отбавляй, но их глазки и губки были уж слишком вызывающи; пожалуй, могли вскружить голову и супругу хозяйки, Газару-эфенди. Сурбик-ханум хотелось иметь простодушную, молоденькую, но в Стамбуле такую не легко было найти.

И вот Хаджи Тюрик пришлось объездить все предместья столицы: Измид, Багчечик, Арсланбек, Агабазар — одним словом, все места, снабжающие столицу прислужой. Наконец после долгих поисков она представила Сурбик-ханум привезенную из деревни Багчечик молоденькую женщину, которой едва минуло восемнадцать лет. Служанка почтительно стояла у дверей, пока Сурбик-ханум внимательно осматривала ее с ног до головы: бедная одежда не помешала женщине оказаться вполне подходящей для богатой хозяйки, которая тут же сговорилась с маклершей; жалование новой прислуге полагается — семь меджидие в месяц и два платья в год, кроме поношенных, которые хозяйка будет ей дарить, если

останется довольна ею. Желая, чтобы служанка тотчас принялась за дело, Сурбик-ханум дала ей чистое новое платье, белый передник, а косынку с головы велела снять и расчесать волосы. От этого женщина стала еще красивее. На белом, не огрубевшем от деревенского воздуха лице чернели большие глаза, скрытые тенью длинных ресниц и дугами бровей. Особенно пленителен был рот, прекрасно очерченный, с приподнятыми уголками верхней губы.

Каждая женщина обладает способностью ценить чужую красоту. Ведь красота — единственная правда, которой женщина отрицать не может, если б даже речь шла о сопернице. Сколько раз мне приходилось слышать клевету и поношения из уст ревнивых женщин, и как часто они кончались прямым и честным признанием:

— Что ни говори, а уж больно хороша, чертовка!

Сурбик-ханум, одоблив внешность служанки, наказала ей соблюдать чистоту, рассказала, как и что делать, и объяснила, как держать себя.

Когда же открылось, что новая служанка, Тигранун, круглая сирота и с недавних пор замужем, Сурбик-ханум, состоявшая попечительницей больницы и пользовавшаяся, как и супруг ее, репутацией высоко нравственной особы, разразилась потоком благородного словоизвержения:

— Я на прислугу свою смотрю, как на родную. Ты ведь знаешь, Хаджи Тюрик, в других домах служанкам дают пить воду из колодца, у меня прислуга пьет родниковую воду; если на кухне тебе будут мало еды давать, только скажи мне — я не потерплю, чтоб повар обижал прислугу. Только, как пообедает

ешь, на кухне не оставайся и с мужской прислугой в разговоры не входи,— понимаешь, дочка? А теперь ступай, Мариам тебе покажет, что надо делать.

Мед источали ее уста. Тигрануи чувствовала себя на седьмом небе.

Тигрануи проснулась рано. Солнце смотрело прямо в окно, играя на ее нежной шее и белых плечах, переполняя сердце необычайной радостью. Тигрануи не могла опомниться от происшедшей в жизни ее перемены. Присев на постели, думала она о своей жизни.

Вся ее сознательная жизнь до замужества прошла на селе у тетки. Смутно, точно выцветшая от времени фотография, проступал в ее воспоминаниях облик матери. Отца Тигрануи совсем не помнила. У тетки она жила не то как прислуга, не то как племянница и только об одном заботилась: не быть никому обузой. Пожалуй, Тигрануи была бы даже счастлива, если б не две двоюродные сестры, отравлявшие ей жизнь. Виновата в этом была ее красота, которой она затмевала их. И столько неприятностей причиняла ей эта красота, что Тигрануи от души хотелось сделаться некрасивой.

Много парней на селе бегали за ней день и ночь, напевая вполголоса при встречах похвалы ее стройному стану и пышным кудрям. Хотя Тигрануи не очень обращала на это внимание, однако влюбленные беспокоили ее, точно камешки, бросаемые в тихое озеро. А двоюродные сестры изощрялись в распространении сплетен. Как раз в это самое время молодой рабочий, добывавший себе хлеб тяжелым трудом,

предложил ей руку. Тигрануи уже исполнилось восемнадцать. Деревенская девушка в этом возрасте считается перезрелой; а тут еще была необходимость покинуть теткин дом: старуха всей душой стремилась выпроводить Тигрануи и охотно согласилась выдать ее за подвернувшегося жениха. И вот Тигрануи перешагнула порог чужого дома, где, кроме жениха, жили и родители его. Ничего хорошего ей не сулило это замужество. Через неделю после свадьбы муж отправился в горные шахты добывать уголь. Только месяц спустя он навестил жену и, пробив с ней день, уехал снова. Тигрануи продолжала работать некладая рук. Жизнь ее, как день на дальнем севере, казалась бесконечным мраком; лучи надежды не озяряли ее.

И вот однажды мужа привезли с переломленной ногой, работать он уже не мог. Ах, будь у Тигрануи ребенок, пошла бы она в кормилицы, стала бы зарабатывать, а деньги посылать домой; бездетностью прекали ее родители мужа.

Тут-то как раз и подросла Хаджи Тюрюк.

— Поедем со мною в Стамбул!

И муж и тетка, заменявшая ей мать, согласились. Для Тигрануи это было избавлением. Маклерша без конца восхваляла ее будущую хозяйку: ведь это люди богатые, барыня во как щедра: на рождество, на масленицу, на пасху не сосчитаешь подарков; пища сытная, работа легкая. Лучшего места и не сыщешь.

Даже тетка на минуту призадумалась: уж не послать ли вместо Тигрануи одну из дочерей? В конце концов все было улажено, и утром, чуть свет, две женщины вышли из пролетки на морском берегу.

Тигрануи невольно вспомнила теперь этот путь из тьмы к свету, видя в нем доброе предзнаменование. Ее пленила измидская гавань, застывшая в золоте зари, точно ленивая красавица, что нежится утром в постели. До сих пор Тигрануи не случилось видеть море вблизи. И вот теперь, примостясь в широком деревенском челноке с узелком под мышкой, неслась она по голубой морской глади, не веря глазам своим.

В Измиде они с трудом попали на поезд и, наконец, покончив с вокзальной суетой, быстро помчались по живописному побережью.

Когда поезду случалось останавливаться на станциях, Тигрануи казалось, что это он устал и хочет отдышаться; одни садились, другие вылезали, а поезд как безумный неукротимо летел к Стамбулу. Она припоминала, как добрались они до Гайдар-паши, до района Перы, на который указала ей пальцем Хаджи Тюрик; красивые дома этого городка совсем очаровали Тигрануи. На станции она все побаивалась, как бы не отстать и не затеряться в толпе. Крепко прижимала узелок: не ровен час и обронить можно. Впрочем, с нею ведь была Хаджи Тюрик, проворная и опытная проводница, — всю дорогу спасала она Тигрануи от разных напастей, пока не доставила ее в этот богатый дом. Тигрануи Хаджи Тюрик казалась ангелом-хранителем — и как она была благодарна ей в эту минуту!

А каков этот дом, утопающий в роскоши и богатстве! Три смысленных прислуги; среди них старая Мариам, приставленная к ней для обучения и

надзора; а больше всего удивляла ее сама сладкоречивая хозяйка. Только к вечеру Тигрануи немного струхнула, увидя строгое лицо угрюмого барина и с ним его сына, крепкого, пышущего здоровьем, но уже и теперь повадками похожего на отца.

Думая обо всех событиях, Тигрануи чувствовала себя вполне довольной; она быстро вскочила, оделась, причесалась, погляделась в стенное зеркальце и тут, первый раз в жизни внимательно рассмотрев свое лицо, ощутила приятную истому от сознания своей красоты; затем она спустилась вниз.

Молва о хорошенькой служанке Сурбик-ханум пронеслась по всему предместью: все поздравляли барыню.

В одежде Тигрануи преобладали несколько кричащие тона, — так нравилось ее хозяйке, при этом одевался белый чистый передник. По вечерам, покончив с работой, Тигрануи скрывалась в маленькой комнатке верхнего этажа и здесь, сидя у окна, следила за сходящими с парохода пассажирами.

Скоро служанка привыкла к месту; все жалованье целиком она отправляла мужу и очень была довольна своей судьбой. Но глухое беспокойство не оставляло ее. Она чувствовала какую-то неведомую опасность: ей казалось, будто она не одна в комнате, а когда сидела с закрытыми глазами, ей слышались чьи-то шаги.

Эта опасность как бы носилась в воздухе. Тигрануи не понимала, что ей угрожает, но чувствовала, что надо быть настороже.

Ведь у этих стамбульских жителей, при всей их галантности, выработалась особая манера обращаться с женщиной: что-то похожее на поцелуй иногда касалось ее щек и оскорбляло стыдливость этой юной женщины. Инстинкт подсказывал ей, что затаенные страсти обвевают ее знойным ветерком, когда она подносит мужчинам воду или сладости. Выходя из комнаты, Тигрануи чувствовала, что глаза мужчин как бы прожигают ее насквозь и не могут оторваться от ее пышного стана, колыхавшегося при ходьбе. Какой-то необъяснимой прелестью дышали даже ее платья, при всей их деревенской простоте.

Перед всеми этими соблазнами не мог долго устоять сын Газара-эфенди.

Юноша несокрушимого здоровья, обуреваемый страстью, он научился у отца скрывать свои желанья, однако оказывался бессильным справиться с ними, когда случалось ему оставаться с глазу на глаз со служанкой.

Хотя за ним и прочно утвердилась репутация человека, тяжелого на подъем, он тем не менее начал заигрывать с Тигрануи, как бы желая испытать — будет ли она ему сопротивляться. По временам он будто нечаянно прикасался к ней, точно хотел схватить ее за руку. Но Тигрануи разгадала его замыслы и отступала без замешательства, уподобляясь в этом случае трусливым существам, уклоняющимся от опасности медленно и словно беспечно, скрывая внутреннюю дрожь, чтобы ослабить силу напора противника.

Наконец избалованный юноша прямо потребовал от Тигрануи ответа на свои домогательства, а они делались все настойчивей за эти шесть месяцев. И днем

и ночью в доме шла игра в прятки, погоня по пятам, а тут еще изволь являться к молодому хозяину для разных поручений — бедняжка не знала, что делать.

В конце концов, убедившись в своем бессилии, Тигрануи решила во всем признаться хозяйке. Ведь она считалась благочестивой дамой строгих взглядов и нередко сам епископ восхвалял ее в своих проповедях. И вот, ища защиты от нападения юноши, Тигрануи, оставшись вдвоем с хозяйкой, призналась ей во всем.

Сурбик-ханум заявила, что она поражена: уж не ошиблась ли Тигрануи. Однако обещала ей в тот же вечер поговорить с сыном, добавив с улыбкой, что во всем виновата красота Тигрануи.

— Мой сын — парень добрый, да ведь тут ничего не поделаешь: он — мужчина, а ты красивая на редкость; чего же удивляться, что ты ему нравишься.

Хаджи Тюрлик на жалобу Тигрануи ответила с усмешкой.

— Деточка моя, — сказала старуха, — чего тебе еще надо: ведь в тебя по уши втрескался — и кто же? — хозяйский сын!

Тигрануи все еще пыталась защититься от домогательств молодого барина, но мало-помалу привыкла к его пылким излияниям. В то же время барыня засыпала ее подарками. Служанка уже знала, что значат эти незаслуженные милости. Да уж и самой ей становилось все труднее сопротивляться.

И вот однажды ночью Тигрануи застала у себя в комнате молодого барина; хотела было она крикнуть, но, опасаясь огласки, принялась умолять:

— В ножки тебе кланяюсь, эфенди, оставь меня!..  
А что скажет ханум, когда узнает?

— Ты дура — ведь мать моя сама толкает меня к тебе, так ты не бойся...

Прижатая к стене, Тигрануи очутилась в стальных объятиях юного эфенди; силы ее покинули. Закинув голову, она отдавалась его несчетным поцелуям и в то же время бессознательно искала оправданий: ведь она сделала все, что могла для своей защиты; ее ли вина, что спастись не удалось?

Связь их продолжалась два года. Для хозяйки Тигрануи была идеальной служанкой: ведь она удерживала ее сына от открытого разврата, предупреждая возможную огласку и различные опасности. Зато Сурбик-ханум и одевала ее, точно невестку, и вслух перед всеми расточала ей щедрые похвалы.

И вдруг Тигрануи захворала: тошнота, головные боли; так тянулось несколько дней, но испуганная служанка никому об этом не сказала. Прошло еще немного времени, и признаки беременности стали явными. Ошеломленная Тигрануи не знала, что делать. Вся домашняя прислуга подшучивала над ней, смеялась, острила. А молодой хозяин сразу перестал к ней ходить и даже как будто не замечал ее.

Однажды сама Сурбик-ханум, внимательно всмотревшись в служанку, сверкнула глазами.

— А ну-ка, подойди поближе! — громко отчеканила она.

И, видя, что Тигрануи растерялась, добавила:

— Еще ближе!

Роковые приметы были налицо. Как и большинство беременных женщин, Тигрануи подурнела: на лице появились пятна, живот выдавался, грудь тоже.

Хозяйка окончательно взбесилась.

— Ах ты шлюха, — закричала она, дрожа от ярости, — опозорила ты наш дом, убирайся ко всем чертям!

Услышав крики хозяйки, старшая служанка Марнам опрометью прибежала к ней.

— Сию же минуту позвать Хаджи Тюрлик, пусть уберет куда хочет эту потаскуху! — продолжала буживать Сурбик-ханум.

Маклершу доставили часа через два, и гнев хозяйки шумно обрушился на нее.

Бесчестие в иных случаях имеет нечто общее с честью; порой лжецы, утратив способность различать границу между ложью и правдой, искренне веруют в правоту своей лжи.

Вот почему гнев Сурбик-ханум казался вполне искренним. Она ни на минуту не могла допустить, что позорное событие произошло с ее ведома и согласия, по ее же собственной воле. Как исступленная, твердя о чести, о добродетели, она извергала потоки брани на служанку, на маклершу, на целый мир.

— Пусть сейчас же убирается шлюха, чтоб духу ее не было!

Тигрануи вся дрожала, зуб на зуб не попадал.

Хаджи Тюрлик, оставшись наедине с Тигрануи, прониклась жалостью к ней. Подробно расспрашивать она не стала: все было ясно и так.

— А давно ли ты беременна, голубка?

— Не знаю, — прошептала Тигрануи.

Маклерша сошла вниз к Сурбик-ханум; та продолжала бушевать, постепенно разжигая пыл своего негодования: вы только подумайте, она хотела пригреть бедную сироту, а вместо благодарности вот что получила; вот и бери после этого таких негодяек, — при этом она брезгливо одергивала юбку, точно боясь замараться.

— Ну и шлюха, нечего сказать, и с кем только она не путалась!

Но тут Хаджи Тюрик неожиданно вспыхнула и, дерзко подбоченясь, начала отчитывать хозяйку:

— Полно тебе бушевать, сударыня, чего ты зря на бедную девчонку вину возводишь? Ты бы лучше сынка-то своего попридержала, чем попусту грех на душу брать!

— Что? Что? Это ты сына моего хочешь впутать в это дело? Наплевать ему на прислугу, — все девки и молодки предместья так и бегают за ним!

— Ну так ведь такую красавицу, как Тигрануи, ты, Сурбик-ханум, в предместье не скоро сыщешь. Ты уж лучше слушайся меня — я на своем веку и не то видела. Коли случился грех, так надо что-нибудь сделать, чтобы его покрыть.

Но Сурбик-ханум все упиралась и никак не хотела сознаться, что тут всему виной ее сын.

Спор продолжался; грубая брань и попреки, на которые ни скупилась ни та, ни другая, показывали, что Хаджи Тюрик куда добрей и благородней хозяйки.

Одного хотела Сурбик-ханум: как можно скорее отделаться от Тигрануи, а то, чего доброго, распутают весь клубок.

Хаджи Тюрик, будучи женщиной себе на уме, сообразила, в чем дело: надо было воспользоваться случаем и добыть для несчастной служанки несколько золотых.

— Видно, уж придется деньжонок ей дать, — сказала она.

— Да я уж лучше на больницу пожертвую, чем отдавать деньги какой-то шлюхе, — твердила Сурбикханум с упорством челоzeка, не любившего платить долги, но и не желавшего прослыть хищником.

Тут уж Хаджи Тюрик вышла из себя:

— Кто для сына бабу добывает, тот должен и кошель держать наготове, поняла? Вместо того чтобы на больницы жертвовать, дай лучше этой бедняжке, что от твоего сына понесла, ей пригодятся денежки, вы ведь, слава богу, люди не бедные. Тигрануи теперь нигде держать не станут, и когда она родит, ей жить будет не на что, а тут вдобавок и больного мужа содержи!

Долго Сурбикханум кричала и ругалась; наконец, после продолжительного торга, отсчитала два десятка золотых с непременным условием, чтобы Хаджи Тюрик сейчас же увела служанку куда хочет.

Спускались сумерки. Газар-эфенди вернулся вместе с сыном последним пароходом и, сидя у себя, вел с юношей разговор о торговле. Сын держался с отцом особенно покорно и угодливо.

Парохода из Гатыгюха в Стамбул в этот час не было, и Хаджи Тюрик должна была нанять лодку.

Осенний вечер становился все темнее. Замороживший дождик постепенно закатал в туман море и

берег. Стоявшие у пристани пароходы напоминали своими крестообразными мачтами простерших руки сказочных великанов. Отсюда были видны зажигавшиеся на возвышенностях Галаты и Перы огоньки.

Прикорнувши в лодке с узелком под мышкой, горемычная Тигрануи безвольно прислушивалась, как плещет вода под веслами, и глядела на вспыхивающие огоньки; и вдруг она почувствовала, что у нее под сердцем зашевелился ребенок.

В предместье всю эту историю не сочли особенно позорной для дома Газара-эфенди: хотя слухи и расползались, но для всех было выгодно считать, что Тигрануи согрешила с одним из слуг. Этого мало: о благочестии Сурбик-ханум заговорили теперь еще упорней; слава ее домашнего очага — первого в предместье по богатству — продолжала расти. Все, кто прочил своих дочерей за ее сына, наперебой пели хвалу и матери и сыну.

— Экая шлюха, — говорили о Тигрануи, — не сумела оценить счастья, что выпало ей на долю!

Того же мнения держались и компаньоны Газара-эфенди. Все жалели и его и Сурбик-ханум, не переставая дивиться черной неблагодарности, проявленной служанкой.

— Чего только на свете не бывает! — качали они головами.

Незаметно пронеслось четыре года с того рокового дня, когда разыгралась вся эта история.

Тигрануи была все так же мила, хотя на лицо ее легли тени, немного старившие ее.

Последний срок беременности она провела у Хаджи Тюрик; здесь у нее родился здоровый, веселый мальчик; в это самое время муж ее в деревне умирал от чахотки.

Смерть его не особенно поразила Тигрануи; ведь несчастная так мало знала своего супруга. Однако с ним утратила она какую-то опору в жизни, хотя и не очень надежную. Тем нежней стала относиться Тигрануи к своему младенцу: бедный сиротка, оставшись без отца, казалось, был ей еще милее.

Беспрестанная работа вынуждала Тигрануи оставлять ребенка у чужих людей. И вот однажды ее уведомили, что он болен. Несчастная бросилась к сыну, но ребенок был уже при смерти: ни врачи, ни лекарства, ни святые мощи из Всесвятского монастыря уже не могли помочь ему; трепеща, как пойманная птичка, мальчик скончался на материнских руках.

Никого из близких у Тигрануи не было; Хаджи Тюрик была далеко, и все хлопоты по погребению пришлось взять ей на себя. Сама она обрядила младенца, сама снесла его в церковь — ей хотелось придать похоронам торжественный вид.

— Ну чего ты зря деньги расходуешь, ведь они тебе с трудом даются, — убеждали Тигрануи прихожане.

Но Тигрануи поставила на своем: она заплатила, сколько нужно, потребовала побольше свечей, пригласила на отпевание двух священников и, точно боясь, что дитя простудится в сырой земле, заказала для него прочный гробик.

Кроме нее, никого не было в церкви, и до самого кладбища она провожала гроб с непокрытой голо-

вой. Там при ней опустили сына в землю, и Тигрануи вернулась к своим хозяевам, просрочив всего два дня.

Глаза у нее распухли от слез, но, не проронив ни слова, она принялась по-прежнему за работу.

Теперь все ее мечты и заботы были связаны с дорогой могилкой. Отказывая себе во всем, Тигрануи на скудное жалованье приобрела на кладбище участок для двоих.

Заплатив за это, она с бумагой поспешила на кладбище, чтобы перенести на новое место драгоценный прах. Потом огородила могилу и заказала надгробный камень. Весь заработок бедняжки уходил теперь на украшение могилы — для этой цели Тигрануи не щадила сил.

Поминальные дни для нее являлись днями высокой, настоящей радости. С утра она поднималась рано, тщательно одевалась в свое вдовье платье и шла на кладбище; здесь, перед могилой, на коленях долго шепотом беседовала Тигрануи со своим мальчиком, лепеча нежные слова. Потом приглашала священника отслужить панихиду и платила ему щедро из последних средств.

Домой она шла спокойная, с довольным лицом.

— Где ты была, Тигрануи? — спрашивали у нее домашние, делая вид, что это им неизвестно.

— У деточки моего, ханум, у сыночка была, — отвечала она с сияющим лицом.

## МАГДАЛИНА



аже густо наложенные румяна не могли скрыть природной красоты этой семнадцатилетней девушки. Ее обведенные сурьмой глаза излучали какой-то печальный свет, и, когда вы встречались с их взглядом, вам казалось, что вы прикасаетесь к бархату. Густые и пышные волосы, выкрашенные в желтый цвет, то ли из-за недостатка времени, то ли по какой другой причине не были уложены и спадали на плечи. И, как будто не выдерживая их тяжести, голова девушки была слегка откинута назад.

На девушке были безвкусные и кричащие украшения. Синяя юбка из парчи, окаймленная шелковой лентой, говорила о ее пристрастии к тяжелым тканям. Всем своим видом это обездоленное существо точно бросало вызов дамам из общества.

Беззастенчиво обнаженные груди и постоянно сползающие чулки выдавали приятную полноту ее тела. Выставляя напоказ свою волнующую красоту, она умышленно принимала самые соблазнительные позы.

Ее постель, широкая, просторная, занимала почти половину комнаты на четвертом этаже и заставляла каждого, кто приходил сюда, усомниться в чистоте постеленных на ней простыней.

Уловив мой подозрительный взгляд, она постаралась разубедить меня и, приподняв одеяло, стала клясться всеми святыми, что наволочка выстирана совсем недавно, — ну точь-в-точь как купец, желающий сбыть свой товар. Потом, насильно усадив меня на маленький, стоящий на углу сетир, она, смеясь как девочка, обвила мою шею и спросила:

— Поцеловать тебя разочек?

Отвергнув мои первые неуклюжие юношеские притязания, она сама принялась подзадоривать меня.

У нее был бесспорный опыт в таких делах. Выставляя напоказ убедительные доказательства своей красоты, она ласками старалась победить мою робость.

Аромат ее тела, какой-то незнакомый мне, томящий и сладостный, еще больше разжигал мою страсть.

— В этом доме, — щебетала она, — я моложе всех, на пасху мне исполнится семнадцать.

Она устроилась рядом со мной и, свернувшись калачиком, как кошка, припала к моей груди.

Не прошло и пяти минут, как мы уже подружились. Она забросала меня многочисленными вопросами, будто желала знать о всех мелочах моей жизни, но, не дождавшись ответа, тут же принялась рассказывать свою историю, одну из бесчисленных печальных историй, которую можно поведать в пяти словах.

— Два года тому назад умерла моя мамочка, — слова эти она произнесла с особой нежностью и печалью. — Отца своего не знаю. Есть у меня сестра, она младше меня на два года, и брат, он еще меньше. Есть у меня еще и бабушка. Вот и вся моя родня; всех кормлю я.

Последние слова она произнесла с гордостью человека, проникнутого сознанием ответственности за жизнь своей семьи. И тут же приняла вид строгой и добродетельной матроны, будто раскаиваясь, что здесь, в подобной обстановке, заговорила о своей сестре. Я попробовал было слегка подтрунить над ней, но увидел, что ее прекрасный лоб хмурится.

— Давай-ка поговорим о другом, — как бы боясь меня обидеть, сказала она.

Ее уста снова слились с моими, и на какой-то миг она всем своим телом прильнула ко мне.

Но на этом все кончилось. Несмотря на мои просьбы, она не уступила.

— Как можно в страстную неделю? — возражала она, удивленная. — Ты разве не христианин?

И в самом деле была страстная неделя.

Сейчас она постилась, а в последний день недели и вовсе не должна была прикасаться к пище. Греховность этой девушки непонятным образом сочеталась с удивительной набожностью.

— Когда ты собираешься причащаться? — вдруг спросила она.

— Точно не знаю, — ответил я, — а ты?

Она посмотрела на меня так, словно я задал ей какой-то неуместный вопрос.

— Кто же станет нас причащать?

— А почему бы и нет?

Она знала все церковные каноны и, более чем какой-нибудь священник, была требовательна к себе.

— Принять причастие я не могу, так как после этого я буду вынуждена согрешить опять, — объяснила она мне. — Ведь иначе мне нечем будет жить и содержать сестру, брата и бабушку! Мое покаяние будет ложным.

Эти серьезные слова, произнесенные в ее маленькой комнате, заставили меня задуматься.

«Что бы произошло, — размышлял я про себя, — если бы церковь отказала в причастии всем тем, кто вынужден грешить и лгать? Чем бы все это кончилось? Кто из купцов, лавочников, журналистов, адвокатов и даже из церковников мог бы тогда удостоиться причастия? Ведь на следующий же день все эти люди возвращаются к своим обычным занятиям. Однако никому и в голову не приходит лишить их принятия святых даров».

А девушка все обнимала и целовала меня.

— Сколько тебе лет? — спросила она.

— Двадцать.

Отдаваясь ее ласкам, я продолжал думать о бесконечных противоречиях религии. Церковь в ее теперешнем виде, со всеми своими ограничениями, несправедливыми и надуманными, куда ближе к земле, чем к небу. И людские предрассудки господствуют в ней точно так же, как и всюду.

Девушка целует меня в последний раз.

— Мне пора в церковь, — говорит она, — приходи после пасхи; ведь мы друзья? Правда? Как только придешь, спроси меня.

И она кокетливо, как бы стремясь закрепить установившуюся между нами взаимную симпатию, потребовала:

— Встречаться с другой ты не должен, дай мне слово!

Даю слово, слово двадцатилетнего парня.

.....  
Около года мы любили друг друга. Простая, не имеющая никакого понятия о воспитании, девушка обладала доброй, отзывчивой душой. Ее клиентам не было числа. В ее комнату приходили и греки, и армяне, и турки, и убеленные сединой старцы, и мальчишки, у которых только-только еще пробивались усы; приходили все, кто был очарован ее красотой.

Из-за нее нередко происходили драки.

Вероятно, причина заключалась в том, что эта удивительная девушка, даже продавая свою любовь, оставалась по-своему честной. После того как мы сдружились, она иногда стыдилась своего невежества, но образа жизни — никогда!

С безграничной нежностью и заботой она, как и прежде, издали наблюдала за своей младшей сестрой и братом и, продавая ради них свое тело, не допускала и мысли, что жертвует собой.

У ворот теснился грязный сброд, напоминавший скопище воров и убийц. Движимые любопытством, они старались протиснуться вперед, толкались и на-

пирали друг на друга. Вскоре пришли полицейские, чтобы составить протокол; в руках у них была бумага и чернила.

Я спросил у стоявших рядом людей о причине переполоха.

— В этом доме застрелили девушку, — ответил мне кто-то.

Охваченный тяжелым предчувствием, которое никогда меня не обманывало, я задрожал всем телом. Мне кое-как удалось прорваться сквозь живую преграду, и я вбежал по лестнице в маленькую комнату на четвертом этаже. Вся ее семья уже находилась там. Только что прибывший врач склонился над умирающей. В той же комнате на той же постели увидел я ее в последний раз. Против обыкновения, она была одета во все белое; и только слева на ее груди красным кружочком алела рана, точно роза, распустившаяся на снегу.

Увидев меня, девушка попыталась улыбнуться. Ее состояние врач признал безнадежным. Она пожелала причаститься, и два человека тотчас побежали в церковь, но священник прийти отказался.

Смерть надвигалась медленно. И мне казалось, что это само провидение своей заботливой рукой укрывает саваном ту, которую людская месть и несправедливый суд именем бога лишили даже последнего утешения.

Она умерла. И вскоре имя ее уже никто не помнил. Разве только брат да сестра...

Впоследствии, когда я рассказал эту историю одному умудренному жизнью сановитому церковнику и богослову, он мне подробно растолковал, почему и за

что отлучают от церкви, и объяснил разницу между проституткой и обманутой девушкой. В одном случае церковь решает вопрос так, в другом — иначе, сказал он мне. Его рассуждения показались мне довольно тонкими, а против приведенных им доказательств я ничего не мог возразить. И все же его доводы, доводы вполне логичные, но откровенно варварские, не сумели меня убедить.

И до сих пор перед моим взором встает комната на четвертом этаже, половину ее занимает кровать, широкая и просторная, а на ней спит прекрасная женщина с алой розой на груди.

*1902*

## АКОПИК



ывает, что давно забытая мелодия неожиданно вспоминается. И после тщетных усилий отвязаться от нее ты вдруг начинаешь громко напевать эту мелодию вслух. Так неожиданно мне вдруг вспомнился Акопик. Но почему, в силу каких подсознательных усилий памяти перед моим мысленным взором предстало лицо этого парня? Объяснить это я не в состоянии. Знаю одно — вот уже восемь дней я ни на минуту не могу забыть о нем.

Сначала я вижу его сидящим рядом со мной в школе, увлеченным любимым занятием: маленьким складным ножом он вырезает на парте свое имя или же просто-напросто строгает ее. Потом вспоминаю мои встречи с ним после окончания школы. Он всегда одевался по последней моде и обладал на редкость жизнерадостным характером. Молва о его бесчисленных мимолетных любовных похождениях была у всех

на устах. Позже, к тридцати годам, он все еще оставался таким же, хотя и несколько устал от жизни. Денежные затруднения заставили его сократить расходы на туалеты. А потом он и вовсе разорился, носил изношенный редингот, и я не раз замечал, как он старался скрыть прохудившиеся места на своей одежде. Затем он исчез, подобно погружившемуся в воду пловцу, не оставив после себя никаких следов. И вдруг снова появился в тот момент, когда его меньше всего ждали. Разнеслась весть о его женитьбе. Женитьба эта была для него сущим наказанием, но она восстановила его положение в обществе, подобно тому как надутый бурдюк поднимает со дна моря затонувший корабль.

А через некоторое время я получил обведенное черной каймой послание с аляповатым изображением коленапреклоненного ангела. Оно извещало о смерти Акопика. И больше ничего.

Я в этом не усмотрел ничего особенного. Просто заболел и умер Акопик. Будучи парнем красивым, он не переставал оставаться смертным и, может быть, именно из-за своей красоты и сгорел раньше времени.

Теперь я воскрешаю в своей памяти его жизнь. Он скорее летал по воздуху, чем ходил по надежной земле. Его судьба была не похожа на судьбы других людей, таким же необычным был и его конец. Разные эпизоды, о которых мне удалось узнать в течение этих последних восьми дней, позволяют мне шаг за шагом проследить его жизнь. Я изучаю по отдельности каждый нерв, вскрываю вены и, что покажется вам невероятным, нахожу его душу и копаюсь в ней

подобно хирургу; копаюсь в чем-то неосязаемом и задним числом решаю сложный вопрос о его жизни и смерти; он не даст мне покоя до тех пор, пока я не найду ответа, не дам верного заключения — печального, как и всякая истина.

Ни отца, ни матери у него не было. Один старый дед, происходивший, кажется, из Акна и разбогатевший на хлебопечении. Дедушка до конца дней своих ласкал и баловал Акопика, своего единственного внука. Эти два существа — ребенок и впавший в детство старик — всегда понимали друг друга и находили общий язык. Они жили по соседству с нами, совершенно одни, в просторном доме из двадцати комнат. К дому этому примыкал огромный сад. Здесь все зависело от Акопика, от его детского каприза. Известно, что безмерные развлечения быстро приедаются, и Акопик познал скуку, которая в более зрелом возрасте у людей бывает от пресыщения успехами в обществе. Все игрушки ему давно наскучили, и он выбросил их, тогда как каждому из нас они доставили бы величайшую радость.

В школу Акопик ходил только потому, что уже привык к ней, да к тому же дома одному было скучно.

Перед моими глазами неотступно стоит его худое, но красивое лицо, его тонкие, нежные, почти девичьи черты. Его белокурые волосы всегда аккуратно расчесаны на пробор. Вид у него был несколько болезненный. Ясно, что ему следует оберегать свое здоровье. В то время ему было четырнадцать лет. Учился

он нехотя и, кроме рисования, в котором, по какому-то недоразумению, был наделен настоящим талантом, по остальным предметам плелся в самом хвосте. Особенно хорошо он рисовал карикатуры. Начиная с эконома и кончая директором, все могли быть уверены, что найдут свои портреты, нарисованные на стенах карандашом, а иногда и кусочком угля. Так как он был внуком богача, его проступки, чреватые серьезными последствиями для любого другого ученика, для него, кроме снисходительных наставлений, не имели никаких иных последствий. Худой, гибкий и ловкий, он был признанным главарем всех наших безобразий и детских шалостей. Как можно не любить такого парня? Случалось, он несколько дней не ходил в школу. В это время он выдумывал новые проказы или оригинальные спортивные упражнения, которые выполнял с непревзойденным мастерством.

Мне вспоминается, как в одно воскресное утро я встретил Акопика неподалеку от Охламура верхом на огромном скакуне, на котором он джигитовал с кокетством амазонки. Девушки, наверно, из-за него с ума сходили; в этот день я ему позавидовал. Некоторое время он увлекался охотой; и тогда мы буквально восторгались его одеждой, украшениями и охотничьими похождениями.

Эта полная удовольствий жизнь, выпавшая на его долю именно в те годы, когда мы были вынуждены корпеть за уроками, не вызвала в нас чувства зависти. Она казалась созданной только для него. Я уверен, что умение пользоваться благами жизни является подлинным талантом и может оправдать многие поступки.

После окончания школы я потерял его из виду. Меня втянул водоворот студенческой жизни, тогда как его закрутил вихрь светских удовольствий.

Первые годы его юности были великолепными. Умер старый дед и оставил ему большое состояние. Другой на месте Акопика стал бы приводить в порядок свое наследство. Но подобная глупость ему и в голову не пришла. Он тут же начал транжирить полученное богатство: истратил сначала наличные деньги, потом распродал дома и имения. Долги оставил должникам и не стал их взыскивать, даже когда обеднел. Он все время жил в Пешикташе, в доме своего деда,— то ли в знак уважения к его памяти, то ли из суеверия, не знаю. Не проходило ни одной ночи без того, чтобы он не поехал в Перу — в это место удовольствий и развлечений — за новыми кокотками. Но даже в его распушенности и испорченности было нечто своеобразное — горделивое и благородное, что, как вы, может быть, заметили, среди выходцев из провинции наблюдается только у пришельцев из Акна.

И вместе с тем он сумел сохранить в своем сердце чистую и благородную любовь. Я знаю хорошо, он любил одну девушку из нашего села и был любим ею. Дочь ремесленника, она обладала простым, непорочным сердцем, не устоявшим перед его покоряющим взглядом. У нее были пышные золотистые волосы, прекрасная царственная фигура. Эта гордая красота досталась Акопику. В круговороте порочных утех образ этой девушки как святыню хранил он в самом затаенном уголке своего сердца. И в головокружи-

тельной погоне за наслаждениями и впоследствии, когда он окончательно разорился, любовь эта оставалась непоколебимой. Так и прошла его молодость, похожая на беспрестанный бег. И только в тот день, когда у него не осталось ни гроша, он остановился, остановился, не удивляясь и не сетуя... Теперь ему было около тридцати лет; все такой же красивый, он сохранял ту самую нежность, которая несколько противоречит обычным представлениям о мужской красоте, но что, однако, нравится некоторым женщинам.

Другой на его месте попытался бы продолжать прежний образ жизни и для этого влез бы в долги; он так не поступил. Я уже говорил, что он остановился сразу, уединился в доме своего деда, почти исчез.

Уметь отступить вовремя во всяком деле — это больше чем искусство. Обычно этого качества недостает тем, чья жизнь полна удач.

Вскоре Акопик продал свой последний дом. В жизни его это было первой печалью.

И вот он стал бродягой.

Люди, которые восхищались им раньше, постепенно покидали его и исчезали, как эхо; все улыбавшиеся ему раньше лица теперь, едва заметив его, делали кислые гримасы и отворачивались. Даже обычные приветствия стали редкими и боязливыми, столь же бесцветными, как и его выцветшее пальто. Всеобщая холодность смутила Акопика и убила в нем мужество. Во всей этой безразличной, даже враждебной толпе только одна рука протянулась к нему — рука любимой девушки. Но он счел себя недостойным ее и ушел.

Долго он скитался по городам и селам, впервые переступив порог, отделяющий жизнь баловней судьбы от жизни бедняков и горемык.

Некоторое время он был просто нищим и, прижимаясь к стенам, украдкой бродил по огромному и страшному миру лишений.

Именно в эту пору я случайно встретился с ним на улице и остановил его.

— Послушай, — сказал я ему, — чем ты занимаешься теперь?

— Умираю, — ответил он мне.

Спустя неделю я узнал, что он женился. Богатая, но некрасивая, засидевшаяся в девах особа искала себе молодого мужа, и Акопика уговорили занять при ней эту «должность».

Беспрекословно, без рассуждений он последовал этому совету — подобно тому, как потерявший волю больной соглашается принять самое отвратительное из лекарств. И в один прекрасный день Акопик поселился в старинном деревянном доме Петросянов в Банкалти, хотя и сам себе не представлял, что он будет там делать.

Все живущие под этим кровом, начиная с тестя, тещи и кончая слугами, строго соблюдали установленный распорядок: в три часа дня — завтрак в столовой, в шесть — обед. Вечером тесть и теща играли неизменные пять партий в пезик<sup>1</sup>. А жена Акопика,

---

<sup>1</sup> Пезик — карточная игра.

устроившись в каком-нибудь уголке, рассказывала им все подробности различных происшествий, имевших место в соседних домах. При этом лица родителей были серьезные и торжественные, и молодой зять читал на них упрек своему беспутному прошлому.

По воскресным дням они всегда ходили в церковь. Этому Акопик даже не противился, настолько новы, невозможны и бессмысленны были для него эти обычаи. Жену он не любил, она казалось ему лишенной всякой привлекательности, и супружеские обязанности вызвали в нем отвращение. Не мудрено, что их взаимоотношения весьма редко переходили за грань официальных.

Потеряв всякую самостоятельность, Акопик и не попытался снова обрести самого себя; ему ни разу не пришло на ум одному выйти из дому вечером.

Но зато, войдя в семью Петросянов, Акопик в глазах всего мира стал обладателем величайшего счастья; с ним снова стали здороваться; тесть определил его на службу к одному из родственников жены. В обязанности Акопика входило собирать доходы с имений этого родственника, возобновлять договоры по найму. Так он довольно долго и исправно выполнял обязанности и молодого зятя и приказчика.

Видя, что Акопик аккуратно посещает церковь, несколько человек предложили избрать его членом церковного совета. Люди говорили, что он образумился, обрел покой и счастье. Богатство тестя, которое сведущие люди исчисляли в десять тысяч лир, рано или поздно должно было перейти к нему. Нашлись и завистники.

Я встретил его в Таксиме, у сада.

— Ну, что нового у тебя, Акопик?

— Именно то, что я уже говорил тебе, — я умер.

— Ты все шутишь?

На лице его появилась и тотчас же исчезла грустная улыбка.

— Время обеденное, я должен быть дома, — сказал он мне.

И, не попрощавшись, быстро ушел.

И он действительно скончался, скончался от болезни, не слишком продолжительной и не слишком короткой, по всем правилам, как и должен умереть человек почтенный. Он умер не внезапно, не случайно, у него было время и для покаяния, и для высочайших приготовлений. Как было сказано в некрологе, он скончался после трехмесячной неволи в кровати и принятия всех таинств святой церкви.

Лечившие его врачи не могли точно определить болезнь, убившую его. Это было тихое, безмолвное угасание без боли, единственно позволительная смерть в этом доме. Его смерть никому не принесла горя, хотя в некрологе и сообщалось, что утрата эта преисполнила домашних глубокой скорби.

Жена его целый год ходила в трауре, в течение первых трех месяцев закрывая лицо густой черной вуалью, достававшей до самых пят; затем вуаль укоротилась наполовину, а вскоре и вовсе исчезла. Все принятые в таких случаях обычаи были соблюдены. Даже на сороковой день после смерти Акопика для души его отслужили обедню.

Так подшутила злая судьба над этим парнем. Он не выдержал той жизни, о которой многие другие мечтают, и, добившись ее, наслаждаются покоем до глубокой старости. В могилу его свела распространенная у нас болезнь, — по-моему, она хуже проказы, — этой болезни не могла выдержать жизнелюбивая натура. Болезнь эта называется лживыми условиями.

*1904*

## ЦЕРКОВНЫЙ ДВОР



огда священник отправился в церковь, только-только начало светать; на улице не было ни души, и в тишине медленно отступающей ночи отчетливо раздавались его шаги.

Священник поднимался в гору; невысокое, прочное здание церкви было расположено на возвышенности, на окраине деревни; он шел, тяжело дыша, опираясь на выцветший дешевый зонтик из черной материи, который обычно брал в дорогу вместо трости.

Вот уже тридцать лет все таким же размеренным шагом, столь же аккуратно, как восходит каждое утро солнце, поднимался он по этой дороге, торопясь в свою церковь, к своему любимому богу.

На паперти он на минуту остановился, чтобы еще раз всей грудью вдохнуть чистый утренний воздух, и окинуть взором окрестности.

Его взору представилась восхитительная картина, пронизанная лучами утреннего июльского солнца.

Вдали виднелся Босфор. Извиваясь подобно исполинскому змею между двумя грядами гор, он то исчезал, то вдруг появлялся вновь.

Дорожка, проложенная светлыми лучами солнца, сияла неисчислимыми бриллиантами, отчего бархатная синева моря казалась еще темнее.

У самого берега, куда смотрел священник, эти бриллианты были так крупны, что каждый из них можно было разглядеть в отдельности; дальше они постепенно уменьшались и сливались воедино. А еще дальше — сплошной блеск, застывшая в дивном сиянии гладкая лучезарная поверхность.

Посреди моря переливающиеся всеми лучами радуги пылинки непрестанно двигались, меняли расположение, оттенки, смелыми исполинскими прыжками обгоняли друг друга, выплясывая на синем просторе какой-то волшебный танец.

Не менее восхитительным было утро на суше: на горах свежая зелень чередовалась с красными опухлями недавно вспаханной земли; неисчислимыми параллельными рядами тянулись борозды на полях; а еще дальше, у горизонта, виднелась густая купа деревьев всевозможных оттенков зеленого цвета, начинающая от близкого к желтому и кончая темным, почти черным. Иногда по деревьям пробегала точно легкая дрожь, и их верхушки беззвучно колыхались зелеными волнами. Под косыми лучами солнца легкой дымкой подымалась к небу осевшая на землю и траву утренняя роса.

Из деревни не доносилось ни звука; застывшие в кристально чистом воздухе окрестности будто смутно ожидали чего-то.

Потом на нежном, синем полотне неба появились первые клочья облаков; подул легкий ветерок. Поступью лунатиков прошли несколько волов; какой-то продавец молока звоном медной посуды нарушил царившее вокруг безмолвие.

В церкви полумрак — ее железные ставни еще закрыты. Войдя, протоиерей достал из шкафа ризу и облачился в нее, затем сменил шляпу на черную шапочку и встал перед алтарем. Богоматерь в серебряном окладе взглянула на него из старой позолоченной рамы. С тех пор как ее поставили сюда, она так же безразлично, все тем же неподвижным взглядом смотрела на каждого, кто входил в церковь. Священник перекрестился.

— Во имя отца, сына и святого духа...

Его сильный голос загремел в пустой церкви, и глухое эхо повторило:

— ...И святого духа.

Пришел служка и открыл ставни. Шум его шагов окончательно разогнал тишину церкви.

Отец Авраам был из тех немногих старцев, которые еще при жизни отрешаются от всего земного и задолго до срока словно переселяются в потусторонний мир, откуда все страсти и надежды изгнаны раз и навсегда. Им больше ничего не хочется, они ни к чему не стремятся. Близость смерти может сотворить чудо и вызвать подобное чувство у каждого, но с возвращением человека к жизни оно сразу исчезает.

Отец Авраам не отличался большим умом, но память его, по какому-то наитию, подобно последней

вспышке угасающей лампы, обострилась в той же степени, в какой ослабли его остальные способности.

Священник совершенно отчетливо помнил наиболее значительные события своих отроческих и юношеских лет, и эти воспоминания о них сейчас как бы заполняли пустоту его настоящей жизни.

Свою трудовую жизнь он начал скромным учителем приходской школы, и это начало как бы определило и конец. Ему никогда не удавалось, хотя бы на некоторое время, вырваться из тисков нужды. Всю жизнь он едва сводил концы с концами, вплоть до сегодняшнего дня, хотя вот уже двадцать лет он был протоиереем.

Он еще хорошо помнил прежних господ; конечно, все они были необразованными и невоспитанными торгашами, но он все же трепетал перед ними несмотря на то, что был наделен достоинствами, снискавшими ему всеобщую любовь и уважение.

Лица господ до сих пор будто наяву стояли перед его глазами, и в особенности лицо Сегбосяна Мкртыча-аги, высокого худощавого человека с развалистой походкой. Это Мкртыч-ага на свои средства построил церковь, а в минуту гнева прогнал его из школы.

Петрос Патвели<sup>1</sup> — таково было светское имя священника — в тот вечер вернулся домой бледный от стыда и страха. Несчастливая жена и дети, стараясь облегчить тяжесть свалившегося на него несчастья, утешали его, но напрасно. До пасхи оставалось около месяца, и приближающиеся праздничные дни казались ему днями жестоких испытаний, которые неиз-

---

<sup>1</sup> Патвели — почитаемый.

бежно обнаружат всю горькую нищету их существования.

На другой день в школе занятий не было. Дети уже больше не тревожили Патвели своими веселыми голосами; а он привык к их гомону и теперь чувствовал, что ему чего-то не хватает. Да к тому же вместе с детьми исчезли и средства к существованию, а найти новые он не надеялся.

На пасхальной неделе его навестили друзья, они глубоко сочувствовали ему. Один из них посоветовал Петросу написать аге смиренное, очень смиренное письмо или же лично пойти к нему домой и попросить прощения за совершенные проступки.

Он согласился и всю ночь до рассвета писал, зачеркивал и снова писал письмо, но потом разорвал его. До утра он снова и снова лихорадочно отыскивал нужные слова, но не мог найти таких, которые были бы в состоянии растрогать сердце аги. А что, если ему откажут! Трудно представить, какая нищета ждала Патвели вместе со всем семейством. Слишком большие надежды возлагались сейчас на его перо.

Наконец он отложил это проклятое послание на более спокойное время. Но вдруг в доме поднялся переполох; жена и дети выбежали из комнаты. По лестнице, как обычно вразвалку, поднимался сам ага; Патвели бросился ему навстречу, он не мог поверить своим глазам. С каким намерением пришел сюда ага? Патвели не успел ничего спросить — ага взял худую, дрожащую руку несчастного учителя, поцеловал ее и поднес ко лбу.

— Ты прости меня, Патвели, — сказал он мягко. — В эти праздничные дни я захотел снять камень со

своего сердца и решил прийти к тебе с повинной; умоляю — прости меня!

Патвели с трудом смог выговорить:

— Я навеки ваш покорный слуга, я сам виноват!

— С этой минуты школа опять твоя. Мой конторщик принесет тебе тысячу курушей на пасхальные расходы; только умоляю, не держи в душе своей обиды против меня; разреши мне пойти и принять участие.

Не держать обиды? Разрешить? Да он был рад целовать ноги и руки аге!

Когда умер Сегбосян Мкртыч-ага, Патвели уже был рукоположен в священники.

Он знал много веселых историй, которые при случае любил рассказывать в свойственной ему шутиливой манере, но чаще всего рассказывал именно эту. И односельчане все до одного знали, как Мкртыч-ага ходил к Патвели и целовал его руку.

В то воскресное утро собрался приходский совет, чтобы решить важное дело. После неторопливого обмена мнениями церковный староста без лишних слов высказался за принятие обсуждаемого предложения.

— Я чистосердечно выскажу свое мнение... — начал он. — Я за то, чтобы похоронить его возле церкви; в нынешнее время сто пятьдесят лир<sup>1</sup> деньги немалые; колокольня того гляди рухнет, да и самое церковь нужно отремонтировать; прямо говорю — деньги эти — большие.

---

<sup>1</sup> Л и р а — турецкая золотая монета.

Он говорил всегда искренне. Две его совести — совесть прихожанина и совесть дельца — отлично ладили между собой. И правда, сто пятьдесят лир могли бы принести этой бедной церквушке пользу. С другой стороны, какой-то глухой и робкий внутренний голос подсказывал ему, что и он сам рано или поздно должен быть похоронен на церковном дворе, и притом за небольшую сумму. А почему бы и нет? В наш век всемогущая индустрия снизила цены на все; церковь также должна снизить цены на почет и бессмертие.

Родственники покойного сидели тут же, на самых почетных местах. Один прихожанин возразил против погребения покойного на церковном дворе — хитрость опытного лавочника, хотевшего выманить лишних пятьдесят лир.

— По правде говоря, я не согласен с вами, эфенди, усопший, да упокоит господь его душу, был хорошим человеком; о мертвом человеке плохое не говорят; но у него было много врагов. Если мы похороним его в церкви, нас будут вполне справедливо осуждать за это; сумма же, которую нам дают, слишком ничтожна. Думаю, что делать этого не стоит.

Вмешался секретарь, который всегда стремился примирить спорящие стороны.

— Пусть дадут еще сто лир, и делу конец — ответственность я беру на себя.

Казалось, его спина сгибается под тяжестью взятого на себя бремени.

Вот тут-то и начался настоящий торг. Были изложены все доводы за и против, а родственники

покойного, не такие уж простаки, опираясь на правило третье канона об умерших, сравнивали и подсчитывали.

— Сколько дал Никогос-эфенди за то, чтобы его похоронили в главной церкви? Если для того, чтобы быть похороненным в главной церкви, нужно всего пятьсот лир, то сколько же требуется для вашей церкви? Для нее и пятидесяти много.

Но прихожане не из тех, кто с легкостью поступает интересами церкви. Они сразу прибегли к другому оружию. Ведь жизнь покойного, говоря между нами, была не слишком-то праведной. Припомнили обещанных и покинутых девушек, полученные и не возвращенные им заклады, лживые клятвы. Поднялась нешуточная ругань, и гора из многих перечисленных темных дел покойного угрожала достигнуть самого неба.

Перебранка принимала серьезный оборот. Борьба велась под знаменем религии и нравственности, и родственники покойного приуныли.

Эти люди, собравшиеся здесь, бесцеремонно вели торговлю самыми священными человеческими принципами, ловко жонглируя ими сообразно своим интересам.

Родственники усопшего, люди в этих местах чужие, не знали, что и возразить, но признать себя побежденными не хотели.

— Ну что ж, тогда мы увезем покойного в Палыглы, — сказал кто-то из них.

Староста забеспокоился, такие случаи — редкость.

— Если хотите, я скажу честно — прибавьте.

В глубине души староста считал, что слишком

много и ста пятидесяти: посудите сами, ведь в один прекрасный день подойдет очередь и его похорон, и он старался, чтобы отныне такса не выходила из терпимых пределов.

Секретарь в своей роли примирителя выступил с новой уступкой.

— Пусть дадут на пятьдесят лир больше, и делу конец.

— Двести лир?

— Согласны, но только мы дадим французским золотом. А вы больше не упрямитесь. Не будем терять времени; у нас еще много дел, мы до сих пор не отпечатали извещений о смерти.

Прихожане сообразили, что дело может закончиться скверно; однако, во избежание недоразумений, все же уточнили, что расходы на похороны в эту сумму не входят.

При выборе места для могилы в церковном дворе возникло некоторое затруднение, но его легко разрешили. У входа в церковь хоронить было нельзя. Предложили место у правой стены, прямо под окном. Но место оказалось недостаточно видным. Наконец уговорились похоронить под окнами комнаты церковного совета. Оставался один незначительный пункт, о котором близкие покойного сочли нужным упомянуть, и прихожане беспрекословно признали, что их желание вполне законно. На фасаде обновленной колокольни должно было быть высечено имя усопшего с достойной записью о его деяниях.

Когда протоиерей вошел в церковь, между прихожанами и родственниками покойного установилось полное согласие.

Человек, упавший с высоты десятиэтажного дома, был бы потрясен не столь сильно, как отец Авраам, когда он узнал о принятом советом решении.

Известный мошенник подобно ножу вклинивается в тело церкви!

Мало ему того, что еще при жизни он покупал себе почести, которых домогался тем алчнее, чем меньше был достоин их. Теперь он и после смерти хочет купить у бога почет, хочет, чтобы тот увековечил и освятил его незаслуженную славу.

Но поговорить со своими прихожанами священник смог лишь после ухода родственников покойного.

— Эфенди, заклинаю вас, не делайте этого, не оскверняйте нашу святую церковь, — просил он тихим, умоляющим голосом.

Для него церковь была не просто зданием, выстроенным из камня и извести. Он считал, что, хотя у нее нет языка и ушей, она имеет душу и сердце. Лоно церкви — священо, и вступить туда может лишь тот, кто разделяет ее скорби. Чего нужно этому покойнику в церкви, что он понимал в ней при жизни? Большого надругательства не могла себе представить ясная, бесхитростная душа Патвели.

— Какие заслуги у этого человека перед нашей церковью? Вам предложили немного денег? Пусть так, но ведь и эти деньги уже не его. Деньги дают наследники, да и то не даром. Взамен они требуют, чтобы вы разрешили похоронить покойного на церковном дворе. А достоин ли такой почести этот человек? Ведь жизнь его была далеко не безупречной. Не мне его судить, а господу богу, однако покойный оставил по себе далеко не светлую память. Что вы скажете, эфенди?

Что они могли сказать? Протоиерей, конечно, прав; но церковь не может существовать одними молитвами. Здание церкви нуждается в ремонте, а колокольня вот-вот рухнет.

Это был самый веский довод.

Отец Авраам не падал духом — ведь церковь принадлежала ему... и он должен был защищать ее до последнего своего дыхания. С черным зонтиком в руках он спустился к пристани, сел на пароход и отправился к епископу.

Его преосвященства отец Авраам не застал — епископ уехал на несколько дней в Гузкунчук погостить у своей сестры. Он был образованным и многоопытным церковником, глубоко убежденным в том, что мир не всегда руководствуется евангельскими истинами. Вся его жизнь служила лучшим тому доказательством. После многих лет пребывания в провинции, в непосредственном общении со своей паствой, он приехал в Стамбул и удалился от суетного мира в тихий, укромный уголок, дабы восстановить свое подорванное здоровье. Теперь, отдыхая от прежних забот, он чувствовал себя безмерно уставшим от столкновений с жизнью. Надежды его рухнули еще в ту пору, когда он был архимандритом и все его обширные знания вылились в голый скептицизм, подобно некогда роскошному бархату, у которого выпал весь ворс.

Вернувшись из поездки, епископ принял священника, и в его маленькой комнате померились силами Вера и Маловерие.

— Все, что ты говоришь, отец Авраам, я понимаю, всей душой понимаю; но давай-ка еще разочек поразмыслим вместе. Покойный был связан со многими

нашими богачами. Его выдворение из церковного двора будет истолковано ими как враждебный выпад против них самих. А об этом нельзя забывать.

Видя, что протоиерей не сдается, епископ продолжил:

— Отношение мое к настоящему случаю опять-таки продиктовано желанием служить нашей святой церкви. К духовенству все уже и так относятся безразлично, придет время — будут относиться с явной неприязнью. А сможет ли церковь продолжать свое существование, если погибнут церковники?

— Церковь может существовать, только пока существуют верующие, если их станет слишком мало, церковь рухнет.

— Ты повторяешь то, что записано в священном писании, действительность же — противоречит этому. В наш век религиозные убеждения переживают серьезный кризис. Если мы будем чрезмерно нетерпимыми, это может послужить поводом для новых проявлений недовольства. Нужно избежать этого, слышишь, отец Авраам, избежать! История утверждает, что во всяком обществе всегда имелись классовые различия; они сохраняются и впредь. В нашем обществе богатые были и останутся привилегированным классом; а представители этого класса являются членами нашей пасты, и притом наиболее влиятельными ее членами, давай-ка задобрим их. Что ты скажешь на это?

После паузы, во время которой епископ выпил чашку кофе, он добавил:

— Ты снова будешь возражать, говорить о святости церкви, конечно упомянешь также о некоторых известных нам фактах из жизни покойного, но скажи

на милость, разве кладбище — не часть церкви? Если кто-то не заслуживает чести быть похороненным в церковном дворе, значит, ему нужно отказать и в месте на кладбище. Видишь, к чему может привести твое требование, если рассуждать логично.

И епископ продолжал рассуждать, конечно несколько опасаясь слишком уж трезвыми взглядами вызвать кривотолки вокруг своего имени. Ведь он по существу не видел разницы между кладбищем и церковным двором. Свои доводы он подкреплял историями из провинциальной жизни, с явным желанием несколько притупить остроту спора.

Протоиерей уже спускался по лестнице, а голос епископа все еще преследовал его:

— Давай-ка задобрим их!

Похороны были богатые. На фасаде наспех отремонтированной колокольни высекли имя Мартироса с трогательной надписью: «Эта колокольня отремонтирована средствами благотворителя...» Слова эти мог прочитать каждый, кто входил в церковь.

На могиле, принявшей тело именитого покойника, за невысокой изгородью возвышалась огромная мраморная плита, которая своим холодным блеском словно пыталась привлечь внимание благочестивых людей.

Раз в год с большой торжественностью справляется панихида. День этот напоминает праздник. Приезжают родственники покойного, все важные господа и раздают бедным хлеб и деньги, а на следующий день рано утром, умиленные их необычайным благочестием, газеты взхлеб сообщают подробности.

Только один отец Авраам все продолжает недоумевать. Теперь он ходит по улице еще более тихим шагом, еще более сгорбившись, опираясь на неизменный зонтик. Кажется, будто он не желает поднять головы, чтобы не встретаться глазами с прихожанами. В церковь он приходит позднее и избегает смотреть на высокомерно взирающую на него дерзкую каменную плиту и золотые буквы, что сверкают на фасаде колокольни.

.....  
Спустя некоторое время какая-то непонятная болезнь, скорее просто упадок сил, чем телесный недуг, уложила отца Авраама в постель.

С тех пор и вплоть до своего последнего часа протоиерей в церковь больше не ступал. Это и огорчало, но вместе с тем и утешало его.

1908







## ГРИГОР ЗОГРАБ

Имя выдающегося армянского писателя и общественного деятеля Григора Зограба почти неизвестно советскому читателю. Книга новелл Зограба впервые выходит на русском языке, и ценители литературы получают возможность познакомиться с творчеством одного из крупнейших представителей той ветви армянской национальной культуры, которая, по сложившимся историческим обстоятельствам, развивалась в странах Западной Европы и в Турции.

Не все написанное Зограбом выдержало испытание временем, некоторые его произведения отмечены печатью ограниченности мировоззрения. Литературная и общественная деятельность Зограба протекала в сложных исторических условиях султанской Турции, которые нередко мешали ему говорить в полный голос, сковывали его творческие возможности. Но важно отметить, что основная часть литературного наследия писателя-реалиста не

потеряла своего художественного и познавательного значения, она глубоко волнует нас и сегодня.

Как известно, в начале XVI века Армения была порабощена и разделена между Персией и Турцией. Страна большой и древней культуры превратилась, по словам историка, в отчизну скорби и печали. Иноземное владычество на многие годы задержало экономическое и духовное развитие народа. В одиночку, семьями, а иногда и целыми селениями покидали армяне родные места, скитались по чужбине в поисках счастья и мира. На дорогах чуть ли не всех стран появилась печальная фигура армянского «хариба» — изгнанника. В эту тяжелую пору Россия с любовью приютила многих сыновей армянского народа.

Прошли годы, десятилетия... Мысль об освобождении от персидского и турецкого ига при помощи России стала самой святой мыслью армян. Наконец, после русско-персидской войны 1826—1828 годов, Восточная Армения присоединилась к России. Это событие огромной исторической важности сыграло исключительную роль в судьбах армянского народа. «Да будет благоденствие тот час, — писал по этому поводу основоположник новой армянской литературы Хачатур Абовян, — когда русские вступили на нашу священную землю...»

Спасенное от угрозы физического истребления и вымирания, население Восточной Армении получило возможность сохранить и развивать национальную культуру, приобщиться к передовой культуре великого русского народа.

Иной оказалась участь Западной (так называемой Турецкой) Армении. Насилие, грабежи, погромы, гонения были постоянными спутниками жизни трудового армянского населения в Турции. Произвол беков и пашей, притеснения собственных угнетателей — духовных и светских феодалов, национальной буржуазии — приняли особенно варварские формы в годы правления султана Абдул-Гамида (1879—1909), заклеянного кличкой

Кровавый. В 1894 году турецкий султан устроил в Сасунской области резню, во время которой было уничтожено около десяти тысяч армян. Год спустя новая волна погромов унесла более ста тысяч человеческих жизней. Турецкая армия и полиция безжалостно истребляли армян и другие нетурецкие народы, грабили их имущество, надеясь огнем и мечом разрешить «национальный вопрос». На репрессии Абдул-Гамида, которому покровительствовали империалистические державы Западной Европы и Соединенные Штаты Америки, трудовые слои армянского народа и передовая интеллигенция ответили вооруженными выступлениями и восстаниями, бурей негодующих протестов.

В этой справедливой борьбе достойное место занял и Григор Зограб, человек большого ума, благородного сердца, высокого гражданского мужества.

Зограб родился в Константинополе (Стамбуле) 26 июня 1861 года в семье менялы. Получив инженерное и юридическое образование, он мог сделать карьеру государственного чиновника. Но страдания родного народа, свидетелем которых был Зограб, пробудили в нем иные стремления и чувства, определили иную, трагическую, однако по-своему неповторимую и прекрасную судьбу, — судьбу писателя-борца, писателя-гуманиста.

Первые литературные опыты Зограба относятся к концу 70-х — началу 80-х годов. Они привлекли внимание современников острой политической направленностью, глубокой заинтересованностью в судьбах страны и народа. Характерен в этом смысле очерк «Китайские письма», напечатанный в 1884 году. Чтобы обойти цензуру, Зограб говорит иносказаниями, скрытый смысл которых нетрудно было понять. Предлагая вниманию читателей письмо соплеменника, якобы полученное из Китая, Зограб на

самом деле рисует мрачную картину жизни султанской Турции, горестную судьбу армянского народа, фарисейство и продажность национальной буржуазии. В другом произведении — романе «Исчезнувшее поколение» (1885—1886) — писатель говорит о воспитании молодежи, супружеских взаимоотношениях, свободе личности в буржуазном обществе, роли искусства в жизни народа. Он обращается к самому широкому кругу нравственных, социальных и эстетических проблем подлинно реалистической литературы.

Поистине самоотверженной была общественно-политическая деятельность Григора Зограба в условиях деспотического режима султана Гаида. Среди передовой интеллигенции Турции писатель пользовался заслуженным авторитетом блестящего адвоката, гневное слово которого приводило в трепет государственных чиновников. В трагические дни армянских погромов Зограб разоблачал кровавую политику правителей Турции и их западных подстрекателей, требовал всенародного суда над палачами.

Неутомимый поборник правды и прогресса, он горячо симпатизировал освободительной борьбе болгарского народа против турецкого ига, смело выступил с защитой болгарских революционеров, отданных под суд турецкими властями.

Знаменательно также, что во время дикой и позорной истерии вокруг «дела Дрейфуса» Зограб был одним из первых, кто поднял гневный голос протеста против подлой провокации, инспирированной реакционной военщиной. Турецкая полиция несколько раз арестовывала Зограба. Власти лишили его права заниматься судебной практикой, вынудили на некоторое время эмигрировать в Париж. После младотурецкой революции 1908—1909 годов, свергшей власть султана Гаида, Зограб вернулся в Стамбул. С новой силой увлекла его бурная стихия литературно-общественной и политической деятельности. Писатель надеялся,

что младотурки выполняют обещания, данные народу, — отменяют феодальную десятину и откупную систему, улучшат положение рабочих, удовлетворят национальные требования нетурецких народов, наделят македонских и армянских крестьян землей за счет помещечьих и государственных владений, претворят в жизнь лозунг «свободы, равенства, братства и правосудия». Эти надежды Зограба явились своеобразным отражением противоречий его мировоззрения. Избранный в турецкий парламент, Зограб не раз выступал в защиту погранных прав национальных меньшинств. Вскоре, однако, жизнь показала, что младотурки питали к трудовому народу такую же ненависть, как их предшественник султан Гамид, а провозглашенный ими лозунг «османизма» означал по существу намерение насильственно ассимилировать нетурецкие народы империи. Все это породило тяжелую духовную драму писателя. Задумываясь снова и снова о будущем родного народа, Зограб пришел к безошибочному выводу, что только дружба с Россией, с русским народом принесет армянам мир и благополучие, создаст историческую перспективу для социального и национального возрождения.

«В условиях русской политической государственности, — говорил Зограб, — мы не лишимся возможности развиваться. Кроме того, Россия — молодая страна, государство с будущим, и тот гнет, о котором так много говорят, в России будет существовать не вечно»<sup>1</sup>.

Григор Зограб — подлинный выразитель идей и настроений демократической армянской интеллигенции конца XIX — начала XX века в Турции, пламенный борец против рабства и деспотии. Турецкие реакционеры искали случая и повода, чтобы расправиться с опасным политическим врагом и его многочисленными

---

<sup>1</sup> Цит. по предисловию М. Юсяна к книге «Григор Зограб. Новеллы (на армянском языке)», Ереван, 1954, стр. 6.

единомышленниками. Такая возможность представилась в июне 1915 года, в самый разгар первой мировой войны. Под предлогом «обеспечения государственной безопасности» во многих городах и селах страны власти организовали невиданную доселе резню. Более миллиона армян пало от турецкого ятагана. Среди них был и Григор Зограб. Так трагически завершился жизненный путь человека, который с полным правом сказал о себе: «Я всю свою жизнь прожил в борьбе».

Григору Зограбу армянская литература обязана появлением и утверждением в ней жанра новеллы. Лучшие из сорока двух новелл писателя составили три книги: «Голоса совести» (1909), «Жизнь как она есть» (1911) и «Тихие боли» (1911). Здесь отмечены годы издания этих книг. Написаны же новеллы и печатались они в газетах и журналах главным образом в 80—90 годах, то есть в наиболее жестокое время царствования Абдул-Гамида.

Огромная заслуга Зограба состоит прежде всего в том, что он обогатил западноармянскую литературу новым, демократическим содержанием. Рассматривая искусство как «правдивое, неподдельное зеркало, в котором отражаются нравы общества», Зограб творчески воплотил высокие принципы реалистической эстетики. Писатель в совершенстве владел сложным искусством новеллы. Манере Зограба была чужда ложноромантическая патетика, столь характерная для иных его современников. Новеллы Зограба захватывают читателя с первых же слов, сразу вводят в русло повествования, волнуют правдой отраженной в них жизни. Композиционным стержнем новелл Зограба, как правило, является история жизни одного героя, что дает возможность автору через отдельную человеческую судьбу раскрыть типические стороны современной ему действительности.

Ни у кого из западноармянских писателей мы не найдем такой живописной галереи разнообразных типов и характеров из народа, как у Зограба.

Вот крестьянская красавица, служанка Тигрануи из новеллы «Шлюха». Сколько страданий выпало на долю этой обаятельной женщины! Она рано осиротела, познала горькую судьбу Золушки, испытала тяжкие муки рабского труда. В поисках хлеба насущного Тигрануи покинула родную деревню, рассталась с искалеченным на угольных копях мужем и нанялась служанкой в богатую семью Газара-эфенди в Стамбуле. Наивная и прямодушная крестьянка попала в непривычную ей среду сытых и развращенных господ, волчья мораль которых жестоко и грубо ворвалась в чистый, духовный мир героини. Не скрывая низменные страстишки, стали заглядываться на Тигрануи мужчины, посещавшие дом Газара-эфенди. Особую настойчивость проявил хозяйский сынок, прямо требовавший от служанки ответа на свои домогательства.

Писатель с большим художественным тактом рассказывает печальную историю «падения» Тигрануи. Ханжеская благопристойность Сурбик-ханум, нравственное убожество ее сына, корыстолюбие поставщицы служанок Хаджи-Тюрик, бесчеловечные законы буржуазного общества исковеркали жизнь Тигрануи и вышвырнули ее на улицу. Из неравной борьбы с властью имущими Тигрануи вышла по существу победительницей: не потускнела ее душевная красота, не прилипла к ней грязь высокопоставленного общества, не заглохли в ней добрые, гуманные чувства — напротив, они стали еще прекраснее, еще возвышеннее... Конечно, эти качества сочетаются в героине новеллы с покорностью и робостью, унаследованными от забитого и темного крестьянского мира. Но такова была правда жизни, и писатель-реалист не мог не следовать за нею.

В новелле «Тефарик» рассказано о судьбе другой женщины,

Ашхен, тоже из-за бедности покинувшей родную деревню и тоже служанки. Но это — совершенно иной характер, во многом противоположный Тиграну. После смерти мужа Ашхен решила навсегда отречься от мирских удовольствий и благ, видя в этом единственное утешение и отраду. Проклятая рабская психология так цепко владела ею, что Ашхен и не представляла себя в другой роли, кроме как в роли безропотной служанки. И вот неожиданно пришла любовь, любовь к двадцатилетнему хозяину — столь же наивная и самозабвенная, сколь раболепная и бессмысленная. Поэтому-то старания Ашхен любой ценой понравиться своему кумиру выглядят смешными и жалкими. Это трагикомическое состояние героини Зограб передал психологически тонко и достоверно. Но не только в этом глубокое, жизненное содержание новеллы.

Тиграну не искала счастья в мире господ. Ашхен попыталась это сделать. Тиграну до конца сохранила чувство *человеческого* достоинства, Ашхен потеряла его, вернее — в ней убили это чувство те, кому она предложила свою наивную любовь, не понимая, что господам «нужны притворные ласки, коварные соблазны». Пройдя через страдания, Тиграну отстояла свое право на жизнь, пусть тяжелую и безрадостную; подавленная страданиями, Ашхен вернулась в родную деревню, чтобы умереть.

Две женские доли — обе глубоко трагические, но и поучительные — обнажают социальные несправедливости буржуазного общества и одновременно показывают, что счастье простого человека в таком обществе — невозможно.

Заметим, что в «Тефарике» избранная писателем форма — рассказ об Ашхен ведется от имени ее хозяина — несколько приглушила критический пафос новеллы, в которой автор с наивной надеждой как бы обращается к совести господ.

Ряд произведений Зограба развивает и углубляет главные

мотивы новелл «Тефарик» и «Шлюха». В одном случае перед нами проходит недолгая жизнь семнадцатилетней проститутки, у которой нет ни матери, ни отца, но есть большая непосильная забота — прокормить сестру, брата и бабушку («Магдалина»). В другом — мы становимся свидетелями того, как, оставив в деревне молодую жену, в поисках заработка в Стамбул приезжает застенчивый и скромный деревенский парень Мартирос, не устоявший, однако, перед соблазнами большого города, ставший предметом порочных вожделений светских дам. А в деревне, изливая горе в усердной молитве, похожей на упреки, все ждет и ждет Мартироса молодая жена — Зардар («Вдова»).

В новеллах Зограба запечатлены многие характерные черты современной ему жизни. Писатель не мог не заметить, например, как более ловкие и опытные дельцы подминали под себя слабых, безжалостно толкая вчерашних коллег в объятия голодной смерти. Эту горькую чашу испытаний довелось испытать бывшему купцу Усеп-аге, которого бедность вынудила покончить с собой («Жертва долга»). Не менее трагично сложилась судьба Софик-ханум из новеллы «Якорь». Беззаботной девушкой была она, когда обнищали ее некогда богатые родители. Замужество не принесло ей счастья. Спустя некоторое время после женитьбы разорился муж. Набожная Софик-ханум подолгу молилась в деревенской церквушке, уповая на божью милость. И бог словно услышал ее голос. Старший сын начал преуспевать «по служебной линии», поправились финансовые дела семьи, соседи стали замечать и кланяться Софик-ханум. Позорная нищета наконец-то покинула этот дом. Но счастье оказалось кратковременным. Тяжело заболел сын Софик-ханум — единственная опора семьи, и на этот раз молитвы матери не помогли. Страшное горе потрясло Софик-ханум, все перевернулось в ее душе, крамольные мысли овладели ею: почему бог не внял мольбам, почему не пришел на помощь? Последний раз посетила она церквушку, с

которой были связаны вся ее жизнь, все мечты. Наступил конец всему — жизни, надеждам, вере. Утром служитель, открыв церковные двери, увидел Софик-ханум, повесившуюся на железной перекладине. В самоубийстве героини новеллы «Якорь» выразились и отчаяние, и протест, и бунт прозревшей женщины, но более всего — гневное обвинение, брошенное писателем религии, ревниво охранявшей рабское в человеке.

Зограб отлично понимал, какой огромный вред приносят народу религия и патриархальные предрассудки. Причину многих человеческих трагедий он видел в слепом повиновении людей церковному уставу, в страхе перед домостроевской моралью. В новеллах «Церковный двор», «Блаженной памяти достойный», «Благотворитель», «Нерсес», «Господи, помилуй!» и некоторых других Зограб показал единство интересов церкви и имущих классов, заклеил фарисейство и ханжество армянской буржуазии, которая любила хвастать своей «благотворительной» деятельностью.

В некоторых произведениях («Маска», «Какой-то другой...», «Кажется...» и др.) писатель ограничился беглыми зарисовками нравов общества, чисто психологическими экспериментами, лишенными глубокого социального содержания. Но лучшие новеллы Зограба отмечены ненавистью к образу жизни господствующих классов, искренним сочувствием страданию и горю трудового народа, страстным желанием помочь ему.

И не случайно, что наряду с «униженными и оскорбленными» Зограба привлекали также натуры сильные, цельные, охваченные большой страстью, готовые на самопожертвование и подвиг. В поисках таких героев писатель обращался к народным низам и здесь находил людей благородных и красивых душою. Таковы контрабандист Акопос («Аинка»), гордая и неподкупная Змарахта, обаятельная Талила, мужественный и романтический Забухо в одноименных новеллах. Знаменательно стремление писа-

теля расширить круг героев, увидеть в народе людей, готовых постоять за свои чувства, права, мечты.

Писатель верил, что придет время, когда образы активных борцов из народа займут достойное место в армянской литературе.

«Литература, — писал Зограб, — должна питаться жизнью народной, чтобы служить ей». Этому высокому принципу реалистического искусства Зограб был верен на протяжении всей своей творческой деятельности.

*А. Салахян*

## СОДЕРЖАНИЕ

Вдова. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	3
Армениса. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	20
Господи, помилуй! <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	39
Якорь. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	47
Тефарик. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	55
Жертва долга. <i>Перевод А. Сагратяна</i> . . . . .	64
Аинка. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	74
Джейран. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	84
Шутка. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	96
Забухо. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	105
Хохот. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	112
Талила. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	116
Рехан. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	124
Сара. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	130
Змарахта. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	139
Кажется . . . <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	144

Потурл. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	151
Счастливая смерть. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	164
Блаженной памяти достойный. <i>Перевод Ю. Маилова</i>	172
Шлюха. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i> . . . . .	186
Магдалина. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	203
Акопик. <i>Перевод Ю. Маилоза</i> . . . . .	210
Церковный двор. <i>Перевод Ю. Маилова</i> . . . . .	220
А. Салахян. Григор Зограб . . . . .	235

*Григор Зограб*

НОВЕЛЛЫ

Редактор Л. Осипова  
Художественный редактор Г. Кудрявцев  
Технический редактор М. Позднякова  
Корректор Р. Москвина

Сдано в набор 3/VI 1961 г.  
Подписано к печати 3/XII 1961 г.  
Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—7,75 печ. л.=13,6 усл. печ. л.  
8,79 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 8,82 л.  
Тираж 30 000 экз. Заказ № 2583. Цена 33 коп.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой  
УПП Ленсовнархоза.  
Ленинград, Измайловский пр., 29.



33 н.

